

Вы скачали эту книгу бесплатно, читайте на здоровье. Но автору хотелось бы получить от вас некоторую сумму в знак благодарности. Форма для перевода находится на сайте автора www.desnitsky.ru. Можно также воспользоваться Яндекс-кошельком, счет 410012750620442, или переслать деньги на Раурал по адресу ailoyros@gmail.com.

Андрей Десницкий

АНДРЕЙ ДЕСНИЦКИЙ
АКВИЛЕЯ



AQVILEIA

АКВИЛЕЯ

*Те, кто читал мою повесть «Островитяне»,
встретят здесь много знакомого. Но «Аквилю»
можно прочесть и самостоятельно — как еще одну
повесть о христианстве.*

Пролог. Тяжесть.

Незнакомую дорогу она узнавала сразу. Каждый раз дорога была разной — но не узнать ее было нельзя. В самом начале, при их первой встрече, небо бурлило аистами — они сбивались в стаи, многие сотни птиц, и это были аисты детства. Когда всё было большим и прекрасным, аисты веснами пролетали через их края, и теперь их черные профили были приветом из ранних и солнечных лет. Была весна, они летели на родину, а здесь присели — отдохнуть.

Она тогда засмеялась и легко ступила на дорогу, уже зная, что дорога ведет к Горе. Она не спрашивала, зачем — аисты передали привет, и значит, так надо. Прохладный весенний песок щекотал босые ноги — разулась она почти сразу. Тонкие силуэты гор, таких дальних гор и всё еще чужих, а не той Горы, к которой она шла, хранили в морщинистых разноцветных ладонях этот мир песка и ветра, камней и солнца. Легко было идти вместе со смуглыми людьми в белых одеждах с их величавыми верблюдами, молчаливыми, как песок. Их гортанный и непонятный язык звучал еще реже, чем верблюжий рев, а ее они не замечали, ведь она была не из их мира.

И все же в этот мир она возвращалась постоянно, сперва неожиданно для себя, а потом постепенно привыкла. Вдруг она оказывалась в узком горном проходе, совершенно одна, на холодном ветру, под небом в лиловых тучах — и заранее знала, что скоро обрушится ливень и ущелье станет руслом бурной реки. Округлые камушки под ногами знали, что это такое, когда тебя подхватывает и тащит поток из воды, песка и камней — камни всегда в главной роли в этом мире! Он снесет всё, что дышит, что не успело улететь, ускакать, уползти от воды. Но ей нечего бояться потока, она знала точно — она в этом мире чужая. Ее воздух — нездешний.

Поток промчится и все перемешает, песок жадно выпьет воду — и уже завтра жизнь вернется множеством зеленых стебельков и мелких соцветий. Смертная сила породит новую жизнь, как бывает в этих краях от сотворения мира. И пока мчится поток, смуглые люди выбегут из своих прямоугольных шатров, покрытых темными тканями из козьей

шерсти, будут петь и плясать под ливнем, потому что для них он — жизнь на ближайшие полгода. Оживут оскудевшие родники, наполнятся и переполнятся водоемы, и мелкий скот наестся зелени вместо скудного сухостоя.

А в другой раз она оказывалась на песчаном плато в непереносимый летний зной, и туча на горизонте рождала не дождь, а губительную бурю — мельчайший белый песок забивал рот, глаза и уши, покрывал собой целый мир, — жестокий завоеватель. Песок переполнял мысли и чувства, хотелось упасть в огромную насыпь светлого безмолвия, в песчаную дюну, чтобы тебя занесло, завалило, размололо ветром на мириады песчинок, чтобы ты слилась с пустыней и нашла покой. Но Гора ждала, и надо было идти к ней. В этом мире она не могла умереть — только дойти до предела.

И она снова шла — в следующем сне. Проходила мимо причудливых глыб мягкого известняка, которые плыли по песчаным волнам, словно огромные корабли. Прикасалась рукой к чуть шершавой теплой поверхности — и рука проваливалась сквозь миллионы — или миллиарды? — лет, раздвигала призрачную, чуть соленую воду первобытного океана, распугивала небывалых медлительных существ, прикасалась к кружевному плетению кораллов. В этом мире больше не было моря, оно отступило далеко со своей причудливой, переменчивой жизнью, хрупкой и древней, но остатки неисчислимых существ слежались и под вечным ветром и редким ливнем стали ажурным холмом среди безводной пустыни. Она прежде не знала об этом, но прикосновение ее ладони к ткани сна всё ей рассказало. Этот холм — плоть умерших кораллов.

А под ногами камни сменялись песком, и песок — камнями. Все было разноцветным и ярким, как бывает только в пустыне, где буйство красок отдано им, песку и камням. И стоило ковырнуть ногой — она открыла это случайно — как под внешним серым слоем проступал песок иного цвета, от насыщенной сирени до лимонной желтизны. И если бы ее не ждала Гора, можно было бы рисовать песком узоры и картины, сочные, яркие, зовущие — до новой пыльной бури, которая спрячет ее старания под равнодушным серым покровом и сохранит открытие для тех, кто пойдет по дороге после нее.

Однажды ей встретились дома мертвых — приземистые, круглые, сложенные из плоских камней, похожие на настоящие дома, только мощнее и ниже, с узким входом — не протиснуться через него живому. Ведь мертвым не нужно пространство живых, и лучше укрыть их понадежней, привалив ко входу камень, который трое мужчин едва сдвинут с места. Это было целое селение мертвых на холме, покрытом узкими и дробными черными плитами словно в знак печали — и в любой момент можно было их собрать и сложить новый дом. Но смуглые люди больше не складывали их, число обителей предков оставалось неизменным уже который век — они только приходили, чтобы навестить их, напоить жертвенной кровью и расспросить о собственной судьбе, и уже не селили здесь новых мертвецов. Время преданий остановилось в этом месте, героев хватало для культа, и каждое племя хоронило теперь умерших в других местах и по-другому.

Ей захотелось прикоснуться тогда к закрытому входу, и она заранее знала, что в этих снах прикосновение становится познанием — она откроет судьбы древних, ощутит вкус их хлеба и кислого молока, примет восторг их юности и немощи старения, познает, чем они жили и что вспоминали в смертный час. И она... отдернула руку. Собственная судьба — этого уже было слишком много, в этих снах она шла не просто к Горе, а к разгадке. И может быть — к завершению. Стоило ли нагружать себя чужой памятью?

А входы круглых жилищ глядели в одну сторону, и в той стороне была Гора. Невидимая, неосязаемая, но властная над всем этим миром. Гора Мироздания, Гора Жизни и Смерти. Гора Бога. Она шла к Горе, как шли к ней те, кто обитал в селении мертвецов, она жаждала ее увидеть, как видели ее круглые эти жилища, что каждый вечер слепыми входами провожали уходящее Солнце, которое на прощанье расцветит всеми красками Гору, ее одну среди сумрака долин.

Этот сон всегда приходил к ней сам. Другие сны она умела вызывать, погружаться в них, когда хотелось, — никто не верил, когда она рассказывала, но это было так. И только дорога к Горе всегда возвращалась сама, каждый раз оказываясь другой. И она знала, что к Горе она — всё ближе. Но груз ее только рос — не то, что у верблюдов, терпеливо тащивших на своих горбатых спинах пищу и воду для погонщиков, и еще немного для себя. Их мешки худели в пустыне, а

тяжесть внутри нее только росла. Она беспокоилась: подойдя к подножью, сможет ли сделать хоть шаг вверх? Зачем идти к Горе, если не для восхождения?

И вот теперь...

Небо было юным и свежим. По земле разливался полуденный зной, ящерики прятались среди камней, но куда было могли спрятаться от жары сами камни? Прохладной была высокая синева, недвижная лазурь без барашков-облаков — хотелось броситься в нее с разбегу, расплескать, зарыться в небесную волну, сбросить возраст и тревогу, чтобы неслась, неслась...

Небо и камни не замечали ее. Среди слепящей пустыни Гора нависала сумрачной мощью, даже в полдень сберегая в складках остатки теней. Где-то там, далеко, отсюда не разглядеть, Гора хранила тропинку, едва приметную, истертую ногами людских поколений — но не сразу ее заметишь. А с этим грузом внутри — как ступить на нее? Тяжесть при виде Горы налилась, придавила к земле, каждый шаг давался с трудом. Воздух сгустился, стал плотнее воды, и поднять ногу не хватало сил. Легкие наливались свинцом, сердце билось, не в силах протолкнуть живую силу к тряпичным ногам, и как бы она хотела помочь своему сердечку, — но только не знала, как...

— Полина!

Голос, знакомый голос прорывался сквозь морок и сон, сквозь душный воздух чужой южной земли, метался птицей под куполом неба, вызывал, вытаскивал ее наружу... Знакомый, глубокий и добрый голос.

— Полина! Пробудись!

Он глотал гласные, этот голос, менял Паулине имя — наверное, чтобы вытащить отсюда. Здесь, во сне, пусть останется другое, настоящее имя. Всплыть в повседневность можно и с этим.

— Проснись же!

Комната раскрылась навстречу, привычные простые предметы угадывались на своих местах прежде, чем она различала их контуры. Но было нужно два-три вдоха, свежих и влажных, чтобы вернуться к ним. Там, у Горы, расцвечен был каждый камень, открыт каждый взмах птичьего крыла в небесах. Здесь — серая муть застилала грубое ложе,

столик с плоской воды, сохнувший у дверного проема плащ ...
Повседневность.

— Ты стонала во сне. Опять.

Разве? Там, в сне у Горы, она не проронила ни звука. Кажется, если бы она смогла заговорить с Горой, она бы... всё было бы лучше. Она бы выплеснула тяжесть в слова и слезы. Но даже прикоснуться к этой тяжести было непосильно.

— Я просто... я отлежала руку.

Он покачал головой, не веря и не споря.

— Тебе помочь?

— Не надо, Зеновий... все хорошо.

Он вскинул брови — она давно и старательно избегала этого имени, называя его как-нибудь по-другому, чаще всего — Филоксеном.

— Зеновий?

— Ах, да, — она чуть заметно улыбнулась, — я, кажется, забыла. Но это ведь не так важно, имена переменчивы...

— А раньше тебе казалось важным.

— Раньше... имена, они помогают вспомнить... а что-то ведь хочется забыть.

— Раньше ты говорила, — он не спорил и не сердился, просто уточнял, — что имя Зеновий не подходит. Что оно означает «жизнь Зевса», и это действительно так, как говорят ученые люди. Я простой сапожник и не стану с ними спорить. И с тобой не стану — зовешь Филоксеном, да и пожалуйста, если так проще тебе. Мне-то что, в хозяйском дому и не так еще звали, а теперь я свободный человек. А я там воды согрел, умоешься...

Какой все-таки родной голос. И она помнила черты его лица — только морщин теперь прибавилось, наверное, их ей уже не разглядеть. Он для нее всегда будет моложе, чем для остальных.

— Мне и холодной довольно, благодарю.

— Холодная вода — она для молодых. В наши годы нужно беречь свое тепло. С неба холода сыпется достаточно. Что за зима в этом году...

Она усмехнулась — сон начал таять в неожиданной заботе чужого мужчины, совсем чужого, в доме которого она жила последние лет... сколько уже лет?

— Зима, она для меня теперь надолго. Давай постираю тебе, Зеновий ты мой Филоксен-гостелюбивый, вот и вода не успеет остынуть.

— Остынет вода, — он помотал головой, — ты же сегодня к этим, к своим.

Она только что была у Горы, но Гора ее не приняла — да, теперь казалось, что это Гора ее оттолкнула, не пустила. Так было проще думать. Почему, — она не понимала. О чем он говорит, куда ей идти? После тяжелого сна бывает, что забываешь самые простые вещи...

— День Солнца. У вас же собрания там.

Действительно... День Солнца. День Господень. День общего собрания. С недавних пор Константин, их епископ, перенес собрания на утреннее время — дескать, молитва прежде всего, а дела подождут. Разницы для нее не было, когда приходить в дом епископа, только казалось странным, что не хочет он ждать занятых повседневным трудом, ведь не всякий человек в своем времени волен. Раньше, когда они встречались вечерами, кто-то от усталости порой засыпал, но что в том за беда? А теперь, получается, их собрания — они не для всех? Если ты раб или просто бедный человек, не бывает у тебя такой роскоши, как свободное утро.

Но сейчас эти мысли не сильно ее заботили. Она встала, умылась теплой водой, впитывая каждую каплю этой простой заботы и стараясь сберечь побольше на стирку. Чан с водой, полотенце, прочие вещи — всё было на привычных местах, и она радовалась, что легко будет оставаться в этом доме, когда глаза откажут совсем. Надо только запомнить места вещей — и ничего никогда не менять, а это ведь самое простое.

Пусть себе вечно меняется, пусть звенит голосами и играет красками Аквилея — торговый город у пределов веселой и буйной Адриатики, под охраной римских легионов и альпийских гор. В ее уголке всё будет по-старому. Наконец-то в ее жизни нечему меняться... и нечего ждать.

Стирка... Грязных вещей было совсем немного, и до завтра они бы отлично подождали. Но уже когда поднималась с постели, она, еще не признавшись в этом себе самой, собиралась стирать, делать что угодно, только не идти на собрание. И ее это, как ни странно, совсем не огорчало и не заботило. Давила Гора, а это... Она просто туда не пойдет... и не будет себе объяснять, почему. Просто — сегодня пропустит. В конце концов, один раз ничего не изменит.

Это всего лишь еще один день, каких было и будет много. Еще один год, каких было у неё много, а будут ли ещё — кто знает... Этому году, 883-ему от основания Рима, осталось еще несколько месяцев до того весеннего дня, когда придется прибавить единицу. От Рождества Христова годы пока не считают — начнут почти на четыре столетия позднее, допустив в вычислениях явную ошибку. И когда начнут, этот год получит номер 131-й — он по нашему счету едва начался.

А этот мир пока живет своей жизнью, не замечая мелких терзаний и повседневных хлопот нашей героини. И в мире царит мир — римский, прочный, вечный мир. Pax Romana.

Цезарь Публий Элий Траян Адриан Август, народный трибун, Отец Отечества, уже восстал ото сна. И прежде гимнастических своих упражнений стоит он перед небольшой статуей новопрославленного божества — Антиноя, его возлюбленного Антиноя, об обстоятельствах его недавней смерти в водах Нила он не расскажет никому. И вот сегодня Антиной снова явился ему во сне в венке из нильских лотосов, улыбался, шутил, благодарил за город Антинополис, основанный в его честь, одобрял замысел Адриана застроить развалины того самого восточного притона мятежников и суеверцев... как бишь его называли местные? Неважно, теперь это будет Элия Капитолина: град, основанный Адрианом из рода Элиев, с огромным храмом в честь Юпитера Капитолийского. Надлежит стереть из Вселенной память об этом их Аква-Враме, или как его там.

А чтобы дело было прочно, говорил Антиной, надо запретить по всему государству совершать обрезание, уродующее мужескую плоть, и читать вслух этот иудейский закон — собрание самых грубых суеверий,

порождение заносчивого иудейского безбожия. И пока он говорил, его вечно юное лицо расплывалось, теряло свою человеческую природу. То складки глаз прятались за зеленой чешуйчатой броней, то нос заострялся и выгибался по-птичьи, то из-за милых губ проглядывали хищные клыки, — но это было так естественно, если учесть, что обожествили Антиноя египетские жрецы, а они изображают своих божеств со звериными головами. И все же Отцу Отечеству было немного беспокойно, и вот он спешит принести своему любимцу, отныне богу, небольшую утреннюю жертву: пригоршню благовоний и несколько капель вина¹.

А никому не известный иудейский бродяга по имени Бар-Косева прячется в этот самый миг за тенистой скалой и сжимает кулаки. Иерусалим, Иерусалим разрушен, даже вход в его развалины запрещен сынам Израилевым, а на Сионском холме протянули свою вервь римские архитекторы, чтобы строить храм в честь своего Капитолийского Ваала. И вот сейчас он не смеет поднять головы, проклиная кощунников вполголоса, из укрытия, чтобы не услышал дозор. Он проклянет, троекратно сплюнет и удалится отсюда в расщелины скал среди пустыни, куда собираются к нему все огорченные душой, все, кто возревновал о Божьем Храме, все, кто топчет римского орла, как дохлую курицу. И скоро придет их час. Ночная разведка прошла успешно, теперь он знает, где у римлян нет постов.

Он сейчас уйдет, но скоро вернется во главе могучего войска, поразит нечестивцев, восстановит и жертвенник, и стены, и ворота. Удалось же это некогда Иуде по прозвищу Маккавей — Молот. Он размолот, расплющил язычников, он положил конец мерзости запустения и заново освятил храм. Сможет и он, Бар-Косева, с помощью Неба. И когда Небо дарует ему успех, он примет совсем другое прозвание, в честь пророчества о той звезде, которая должна воссиять от Иакова и которой станет он сам. Он назовется «сыном звезды», по-арамейски это будет «Бар-Кохба», и промчится во славу

¹ Император Адриан правил в 117—138 гг. н. э. Был противником христиан и иудеев. Одна из самых известных связанных с ним историй — его отношения с юным Антиномем, утонувшем во время их путешествия по Египту осенью 130 г. и сразу же обожествленным по приказу императора.

Неба хвостатой звездой от восхода и до запада Солнца, собирая рассеянных, воодушевляя расточенных и созидавая поверженное².

А епископ Папий растирает ладонями виски, глядя на книги, лежащие перед ним на столе. Он так и не уснул в эту ночь от волнения, он провел ее в молитве и созерцании, он колеблется: не слишком ли дерзостен сам его замысел, не слишком ли бледно исполнение? Накануне вечером, уже затемно, он завершил пятую и последнюю книгу своего труда, и теперь скупое зимнее солнце высвечивает пять свитков на рабочем столе.

Он собирал по крупицам знание, как зодчий строит храм, он путешествовал из родного Иераполя Фригийского по городам и странам, как солдат в трудном походе. Он собрал изречения тех, кто застал самих апостолов, кто видел видевших Спасителя. Он всё собрал, взвесил и измерил, он уточнил неясное и отсекал недостоверное. И вот теперь «Изложение изречений Господних» лежит перед ним, великий и необходимый труд. Поколение свидетелей ушло, но он успел сохранить прошлое, передать грядущим поколениям очищенную от ошибок память о самом главном. И где бы теперь ни вспоминали Спасителя, там прибегнут и к его скромному труду³.

Только ничего из этого не сбудется. Сначала восстание иудеев легионы утопят в крови, как и всякое восстание против Рима, и мессией Бар-Кохбу не признают — разве что имя останется в истории как образчик обреченного мужества. Но и в Элии Капитолине очень скоро прекратят славить Юпитера Капитолийского, да и город снова назовут Иерусалимом, а на месте римских святынь авраамиты поставят свои, бесконечно споря и воюя друг с другом... и разве что улицы Старого Города, в отличие от крайней плоти восточных упрямцев, останутся и при христианах, и при мусульманах, и при иудеях на тех местах, где

2 Шимон по прозвищу Бар-Косева (смысл имени неясен) назвался Бар-Кохба («сын звезды») и возглавил восстание иудеев против Рима в 131—135 гг. Отчасти восстание было спровоцировано строительством на месте разрушенного Иерусалима римской колонии Элия Капитолина, оно было начато по приказу Адриана в 130 г. Его противники называли его «Бар-Козива» («сын лжи»).

3 Папий был епископом города Иераполя во Фригии, он составил не дошедшее до нас «Изложение изречений Господних» в пяти томах.

повелел им быть Адриан. А затем и творение Папия неблагодарные потомки пустят на растопку как недостоверное, скандальное, спорное — разве мало канона, к чему еще и это? Разве что современные исследователи будут смаковать каждую из Папиевых цитат, дошедших через его недоброжелателя Евсевия, будут восстанавливать по ним историю создания канонических Евангелий, главную загадку новозаветной науки наших времен.

Повелитель, мятежник и исследователь останутся в истории навсегда — но не так, как хотелось бы каждому из них. Проще быть почти слепой аквилейской старухой, никому не знакомой, ни для кого не важной, кроме разве что нас, дорогой читатель. А уж мы ее постараемся не потерять.

Она неспешно позавтракала свежим хлебом с оливковой намазкой — Зеновий поел раньше, не стал ее ждать, решив, что она сразу уйдет туда, к своим. Теперь удивленно взглянул, ничего не сказал, пошел в соседнюю комнатку — свою лавку, свою мастерскую, чинить обувь на привычном месте. А она принялась за стирку, и никуда не надо было торопиться, и доказывать никому ничего не было нужно.

Чужая шершавая ткань послушно текла под пальцами — была бы такой ее собственная жизнь... всё-то она текла, как потоки в пустыне, не зная, что ждет за поворотом. И вот теперь еще Гора. Нет, она не думала о Горе... просто Гора оставалась рядом. Не навязывалась и не отпускала. Даже не Гора сама по себе — а невозможность взойти на нее.

Она уже развешивала одежду на веревке, протянутой во внутреннем дворе, когда из лавки выглянул Зеновий:

— Полина, к тебе пришли. Один из ваших.

Юноша вошел, не дожидаясь ответа:

— Мир тебе, Паулина!

Он не глотал гласных, выговаривал правильно, как в риторической школе. Она слышала этот голос раз или два на их собраниях, а черты мужского и, кажется, красивого лица ей с такого расстояния было уже не разглядеть.

— И тебе мир...

Имя. Пусть он даст имя. Когда не видишь вещей — цепляешься за имена.

День один. Свет отделенный.

Феликс — это имя он выбрал себе сам.

Солнце пробивалось сквозь садовую листву, переменчивый узор ложился на руки и лица, дрожал на белой ткани одежд. Он подумал, что мать не случайно любит бывать в саду в солнечную погоду — за игрой светотени не видно на лице первых морщинок, с которыми уже не справлялись египетские притирания. Мать сидела в кресле, как всегда, старательно напудренная, наруганная, с подведенными бровями — да видел ли он ее когда не в полной раскраске? — а подле нее безмолвно стояла неизменная черная рабыня, да еще он сам, разгоряченный быстрой ходьбой.

— Феликс. Зови меня отныне Феликсом, мама. Счастливым.

Он говорил так уверенно, да только не знал, куда деть руки. Скрестить на груди не хватало смелости, а если опустить — они сами собой начинали теревить края туники.

— Такое прозвище подобает вольноотпущеннику или какому-нибудь проходимцу вроде Суллы⁴... Феликс-везунчик. Ты что, хочешь прослыть «везунчиком»?

— Мама, я хочу быть счастливым.

— Так будь им. Чего тебе не хватает для счастья?

Сад был усыпан лепестками яблонь, голову кружил пряный ветер весны, солнце припекало почти по-летнему, но без горячего зноя, и даже насекомые звенели как будто не назойливо, а нежно. Чего не хватает для счастья в такой день отпрыску богатой и знатной семьи? Может быть, естественности? Не попробовать ли стереть грим?

— Ты знаешь, мама, о чем я молюсь больше всего?

Она только отмахнулась небрежным жестом — вроде бы от невидимой паутинки или нахальной мухи. А на самом деле, от его слов.

— Я зашел сказать, что еду в Аквилею. Навестить друзей.

— Да хранят тебя боги. Возвращайся, когда наскучит.

4 Луций Корнелий Сулла по прозвищу Феликс — римский диктатор в I в. до н. э.

Ровный, небрежный тон, словно она и не догадывалась, какую именно дружбу он имел в виду.

— Мама, я еду к своим, к...

— Мне незачем слышать это имя, — она оборвала его так же спокойно и четко, как в раннем детстве, когда он выпрашивал сласти перед обедом.

И добавила, словно сказанного было мало:

— В Аквилее они чтут какое-то варварское божество, слышала я, ставят его чуть ли не выше Юпитера. Кто-то вроде Аполлона, только зовут на Б. Ты теперь решил переметнуться к кельтам?

Это было уже невыносимо!

— И все-таки ты примешь нашу веру! Ты примешь ее однажды!

Она поднялась величаво, запечатлела прохладный поцелуй на склонившемся лбу:

— Возвращайся, мальчик мой.

И не добавила имени. Ни старого доброго римского имени, ни домашнего детского прозвища, ни этого нового, с которым он только что был крещен.

— Феликс! — почти выкрикнул он, уже чувствуя, что проиграл, что здесь он снова оставлен без сладкого и даже без обеда, и так будет всегда, всегда, всегда. Зато впереди была Аквилея: звезда Севера, жемчужина Адриатики, первенствующий в этих краях град и твердыня веры Христовой, вторая в Италии после Рима. Радость и счастье, община единоверцев, пир веры, паруса надежды, царство любви.

Город, где широкие плиты мостовых помнят шаги императора Траяна, победителя даков⁵, и множества его ветеранов, получивших свои наделы в его окрестностях, когда утихли (на время, конечно) кровавые бои. Город, куда съезжаются торговцы из дальних краев: ни альпийские горы, ни придунайские равнины, ни заморские острова не обойдутся без аквилейской гавани на реке Натизоне, хоть и мелеет она теперь. Ничего, большие морские суда разгружаются в новой гавани, там, в лагуне, она того и гляди затмит старую, речную, но не всё ли

⁵ Даки — народ, живший на территории совр. Румынии и много воевавший с римлянами. После долгих войн покорен императором Траяном (предшественником Адриана) в начале II в. н. э. Аквилея в этих войнах была одной из главных римских баз.

равно, где вытащат рабы из тесных трюмов на белый свет тюки фракийской овечьей шерсти, амфоры с элладским изысканным вином, тюки роскошных сирийских тканей и пифосы⁶, бесконечные пифосы золотой египетской пшеницы? И где загрузят на их место утонченную работу итальянских мастеров — кувшины из местной глины и панцири из альпийского железа, сосуды венецкого стекла и украшения для девиц из желтого камня северных морей, чтобы побольше, побольше серебра осталось на аквилейском берегу?

Но не это занимало Феликса. Аквилея, город солнечного божества Белена, которого местные кельты, едва познакомившись с Гомером, приравнивали к Аполлону — Аквилея больше не была царством тьмы и суеверия. Свет веры Христовой взошел над ее улицами и домами, озарил окрестные поля, воды соленой лагуны, дотянулся до альпийских вершин... Аквилея — град Христов, или будет им. И там он найдет себе место.

И значит, снова трястись в повозке на широких дорогах империи, ночевать в придорожных гостиницах, питаться, чем придется, как тогда, в юности, когда он отправился в обязательное для каждого отпрыска хорошего рода путешествие по Элладе... Только теперь он будет один. Он вырос, дядька-педагог ему больше не нужен — добрый, старый Клисфен-книгочей с его седой опрятной бородой, густыми бровями и внимательным, немного строгим взором.

Вечером Клисфен зашел в его комнату проститься. Феликс и сам не знал, как сказать, что он больше не нужен — но это сделала мать. Она дала Клисфену вольную, а на самом деле, сказала Феликсу: ты больше не ребенок, решай все сам.

— Ты, молодой господин, читаешь теперь другие книги — с мягкой укоризной сказал Клисфен. Он не решался называть его новым именем, но и старым не хотел, он знал, что Феликс от него отрекся.

— Да, — нетерпеливо отозвался тот.

— Прошу тебя, не забывай тех, прочитанных нами, — продолжил он, впервые заговорил с ним как взрослый со взрослым и свободный со свободным, — и это будет утешением моей старости. Хочу знать, что уроки не были напрасными.

⁶ Пифос — большой керамический сосуд.

— Что ты, — Феликс обнял его крепко-крепко, как бывало прежде, в его мальшовости, — я так благодарен тебе...

Они долго стояли, обнявшись, и молчали, провожая его детство, общее на двоих детство Феликса — и понимали, что встретиться им едва ли придется. Феликс к матери не вернется.

— Помочь тебе собраться в дорогу?

И Феликс понял, что и в самом деле не знает, как это делать, как странствовать и жить одному. Слишком мирным и долгим было его детство. Ничего, он быстро научится...

Все оказалось проще и лучше, чем можно было ожидать. В Аквилею он прибыл прошлой весной, и был тепло принят общиной, и нашел жилье у старого друга (правда, язычника), и научился обходиться без слуги.

Вот и сегодня утром всё было радостно и правильно, как и должно быть, как и бывает у них в День Господень. Дом Константа стоял совсем рядом с Форумом, среди других богатых домов, но от самого входа, где привратник приветствовал сестер улыбкой, а братьев лобзанием, открывалось нечто совсем иное, чем показная роскошь знати. Это было... как вход на небеса.

Феликс любил эти мгновения до начала молитвы, когда все собирались в просторном атриуме⁷, приветствовали друг друга и обменивались новостями, а потом выходил сам епископ и вел всех в трапезный зал, огромный даже для знатного дома. Но и ему было не вместить всех христиан Аквилеи, и кто пришел позже, оставался в атриуме на все время воскресного собрания. А ведь были и другие дома, и загородные виллы, где в тот же самый день и час собирали народ пресвитеры в единомыслии со своим епископом — и община жила единой семьей, где были братья и сестры, старшие и младшие, но не было свободных и рабов, эллинов и варваров, а только христиане.

Он любил в эти минуты разглядывать мозаики на полу, чего слегка стыдился. Не для того ли он и приходил всегда чуть раньше, чтобы занять хорошее место, с которого всё видно, а сначала — полюбоваться мозаикой, на первый взгляд обычными фигурами из цветных камешков,

⁷ Атриум — внутренний двор в римском доме.

как и в других богатых домах, а на самом деле — исполненных глубокого значения? Вот корзина с рыбами — но не те ли это самые рыбы, которыми Иисус насытил толпу? Не говоря уж о том, что само слово «рыба», по-гречески ΙΧΘΥΣ, означает «Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель», по первой букве каждого слова. А для непосвященных — корзина с рыбой, ведь город-то портовый, вполне обычный узор.

А вот добрый пастырь, на плечах у которого покоится овечка — сколько таких мосхофоров, как зовут их греки, вытесано из мрамора, собрано из цветных камушков в прочих домах! И только здесь этот добрый пастырь — настоящий Пастырь Добрый, ведущий Своих овец в райский сад, а если какая заболит или заупрямится — так взвалит на плечи, Сам ее туда донесет. Неподалеку и тот райский сад с павлинами, царскими птицами, что истребляют змей и даже после смерти не подвержены тлению (по крайней мере, так о них говорят). И даже обычные символы времен года — прекрасные девы со своими дарами — вели ко Христу, говорили о Христе, собирались в хоровод вокруг Христа. Только надо было уметь это видеть.

А вот — и отчего-то это вызывало особенную радость! — петух и черепаха смотрят друг на друга. Два живых существа... только одно вызывает к свету, приветствует песней солнце, способствует порождению светлых яиц и потому означает добродетель. Кладет яйца и второе, но они совсем другого рода — из них вылупляются скользкие, как порок, холодные и медлительные существа, и если заползет такое тебе в сердце — не скоро избавишься от него. Так смотрят друг на друга порок и добродетель, черепаха и петух, а ты выбираешь между ними, и выбора этого не видят, не ценят внешние. Феликс всем сердцем стремился к петуху, но так часто оказывался с черепахой... И мысли об этом отвлекали от молитвы, он стыдился своей черепашести, стыдился своего стыда, стыдился мыслей о стыде и лишь затем усилием воли выдергивал разум из этого мрачного кружения, представляя себе, как поет ясным весенним утром петух, — и улыбался ему.

В завершение собрания епископ спросил о болеющих членах общины, о ком точно знали, что прийти хотел, но не смог. Им Дары с Господней трапезы посылались на дом, и помимо двух-трех привычных имен вдруг прозвучало «Паулина». Впрочем, они сказали «Полина»,

глота гласные — простые, не очень образованные люди, братья и сестры, как он приучает себя их называть.

— Я отнесу... Полине.

Он тоже проглотил гласные. Неловко было показывать этим людям, что он-то ходил в риторическую школу, что ему на том самом Форуме — да хоть сейчас, да любую речь, практически без подготовки. Но ведь стыдно этим кичиться среди них, как и мозаики во время молитвы рассматривать, пожалуй, стыдно...

Констант слегка удивился:

— Ты уверен?

— Да, — спешно ответил он, и добавил: отчего не послужить той, кто так верно служит Господу, а сегодня, видно, по немощи не смогла до нас дойти...

Епископ кивнул, отлил вино — Кровь Господню! — из чаши в небольшой сосуд наподобие арибала⁸, только совсем без росписи, отломил небольшую часть освященного хлеба — Его Плоти! — передал Феликсу.

— Ты же знаешь, где она живет?

Он не знал, ему рассказали...

Кругом бурлила Аквилея — город у серого стылого моря, дышащий, теплый и бурный. Накрапывал зимний дождь, люди кутались в шерстяные плащи, неохотно покидали просторные портики, но всё так же покупали и продавали, спорили и мирились, приглашали на похороны и устраивали свадьбы, как повелось от времен Ноя. А Феликс со своим легким грузом, как корабль спасения, плыл по этим водам, неся в простой глиняной посуде самое ценное, что только может быть на свете, самое дорогое, но почти никому здесь не нужное — Кровь Христову и Тело Его. Ибо сотворил Он свет и отделил его от тьмы, и был вечер, и было утро — день один.

Лавку сапожника Зеновия у самой городской стены найти оказалось нетрудно, да и сам он сиял лысиной в окошке, склонившись над очередным чиненным-перечиненным башмаком из числа тех, что даже на заплаты уже не годятся, да заменить их нечем. Так и мы,

⁸ Арибал — небольшой сосуд для благовоний.

подумал Феликс, так и мы в этом мире... Чинит нас Господь, не выбрасывает... Впрочем, отчего так мрачно?

И шагнул, шагнул с Дарами в уют чужого дома, от суетной улицы, от серого дождя.

— Мир тебе, Паулина!

Ее лицо хранило... да нет, оно было просто красивым. Даже со шрамом (след гонений за веру, не иначе!), даже в обрамлении седых и неубранных волос — а точнее, именно со шрамом, с сединой, со всеми признаками старости, которую она не собиралась прятать. И только глаза словно подернулись легкой пеленой, отстраняясь от аквилейской изящной суеты.

— И тебе мир...

— Феликс. Мое имя Феликс. Тебя приветствует община верных града Аквилеи и посылает тебе, по воле епископа Константа, святые Дары, чтобы и ты приняла сегодня участие в трапезе Господней.

Он не спросил ее, в чем причина ее неприхода, как следовало по указанию Константа. Если кто пропустил собрание по собственной суетности и лени, Дары — не для них.

— Благодарю... — она как будто растерялась, — я...

Он потупил взгляд. Добродетельная жена сознает свою недостойность, не торопится приступить к таинствам...

— Я уже позавтракала, друг мой Феликс. Сама. Я...

С тех пор, как собрания перенесли на утро, они собирались, разумеется, натошак — утренняя трапеза в доме Константа и была их праздничным завтраком. И это было правильно и верно, чтобы Плоть и Кровь стали первым, что вкусит человек в день Господень, прежде прочих, земных яств.

— Тогда... съешь их завтра утром, натошак!

Не рассердится ли она на его дерзость?

— Благодарю, — улыбнулась она, словно ребенку, — так и сделаю. Но тебе придется снова зайти завтра, забрать сосуд. Не пускать же его в обычный оборот после... Ты сможешь?

— Мне нетрудно, — улыбнулся он, — я же богатый бездельник. И заодно... я бы хотел поговорить с тобой.



— Феликс. Мое имя Феликс. Тебя приветствует община верных града Аквилеи и посылает тебе, по воле епископа Константа, святые Дары, чтобы и ты приняла сегодня участие в трапезе Господней.

Пожалуй, и сам себе он не признавался, что потому и вызвался отнести ей Дары. Женщина в годах, с опытом страдания — она поймет то, что робел он высказать собратьям по вере и что вовсе немислимо было бы обсуждать с матерью.

— Проходи, — она улыбнулась, — присядем, поговорим сейчас. А впрочем, помоги мне сначала доразвесить белье. Подержи корзину.

Она! Стирала! Вместо собрания — она занялась стиркой! В праздничный день! А может быть, она испытывает его?

— Я не привык посвящать этот день труду... Но если ты настаиваешь...

— Феликс, милый Феликс... а я не привыкла выбирать дни, не удавалось мне этого прежде. Говорят, нужно творить добро. Мой добрый хозяин... Филоксен — кто же ему постирает? Только я. И ты вот поможешь теперь, если хочешь, конечно.

Да. А на него всю жизнь трудились рабы. Чтобы обеспечить ему покой Господнего дня — рабы, презираемые язычники, поднимались до света, стирали ему белье, мололи муку, пекли хлеба и сами ложились несатыми, в густой темноте... Это урок смирения. Как тонко и деликатно она указала ему!

Он держал корзину, она не торопясь расправляла чужой хитон, а из двух соседних ниш небогатого дома смотрели на них Кровь и Плоть Спасителя — и лары, домашние божки Зеновия-Филоксена. Как необычно сложилось всё в этот день!

— Вот и закончили, — улыбнулась она, — присядем? Хочешь подогретого вина... впрочем, не знаю даже, осталось ли у нас вино. Но точно могу заварить пряной травы.

— Просто глоток холодной воды, — попросил он, — в горле пересохло.

— Молодость горяча, — улыбнулась она, — так что я уж потом заварю травы себе и Филоксену. Нас уже не нужно остужать.

Как зорко она глядела ему прямо в сердце! Как тонко и скромно намекала на главное!

— Ты права, — он слотнул, — меня гложет огонь тайной страсти. Меня поразила, как сказали бы нечестивцы, стрела Купидона, и хуже всего, что она, моя возлюбленная — она язычница. И я не могу вырвать

из себя эту страсть, но и надежды, что она переменит свои взгляды, нет никакой.

— Надежда есть всегда, — она улыбнулась, — просто не всё так выходит, как хочется. И это к лучшему, пожалуй.

Ее дом на другом конце города, — думал Феликс. В это время она обычно лишь просыпается и готовится выйти на улицу узнать новости и размяться. Если сразу от Паулины отправиться к той, есть возможность застать ее, увидеть, возможно, переброситься словом. Ведь в этом нет ничего дурного, не так ли? Вчера он уже почти познакомился с ней...

Из раннего детства она помнила одно: голод. Неотступный, сосущий, то засыпающий на время, когда давали чего-то похлебать, то разгорающийся с такой силой, что она глодала кору деревьев, вылизывала досуха вымытые миски, подбирала пылинки с земляного пола и тянула их в рот — вдруг одна из них окажется крошкой черствого хлеба. Ни одна не оказывалась. К этой памяти она не хотела возвращаться.

Из ранней юности она помнила много разного, но больше всего опять голод. Но уже не свой. Голод пресыщенного мужчины за пятьдесят, который хотел ее плоти больше, чем мог себе позволить. Это был голод даже не по ее юному телу, не по женской плоти вообще — а по собственной молодости, растроченной в походах и пьянках, а она была мостиком к его воспоминаниям. И к тем дням возвращаться ей тоже не хотелось.

Теперь она была богата и свободна — веселая вдова, вычеркнувшая из памяти прошлое, живущая на стабильный доход от него. Бездетная вдова двадцати трех лет, которая приучила окружающих называть себя именем Делия — вычитанным, разумеется, в книге. В самый раз: дать им всем понять, что она читает книги. И в то же время не слишком умничать, а взять да и стащить имя у Тибулла, имя его возлюбленной⁹. Слишком умных тоже не любят те, чьим мнением она дорожит. А вы — хотите обладать Делией? Станьте Тибуллами!

9 Тибулл — римский поэт I в. до н. э., воспевавший свою любовь к Делии.

С родней покойного мужа всё было, конечно, обговорено — завещание есть завещание, а если оно подкреплено некоторыми, скажем так, сведениями, которые родня вовсе не хотела делать достоянием широкой публики и которыми обладала Делия вместе с парой доверенных лиц (на случай внезапного несчастного происшествия) — договор можно было считать скрепленным и обеспеченным. И поэтому о прежней жизни можно было надежно забыть.

Вчера в тот же самый час она у себя принимала дружочка (как она его называла) Аристарха — местную знаменитость, театрального постановщика, который заехал в Аквилею лет пять назад из греческих краев, да так и прижился. Они сидели в удобных креслах под крышей, за колоннами перистиля¹⁰, надеясь, что все-таки развиднеется после дождя. Перед ними — стол с легкими закусками (ведь до обеденного часа еще далеко), но оба увлечены не едой, а беседой — Аристарх рассказывает о новой постановке. Ему слегка за сорок, черты лица правильные, хотя немного великоват нос, но кого этим удивишь в Италии? Черные кудри почти не тронула седина, глаза серые, хитрые, движения то ленивые, то резкие. А она... она похожа сразу на все те античные статуи, которые пропишутся в наши времена в самых разных музеях, а маленькая родинка на левой щеке или чуточку неровная линия носа (упала в том самом детстве, о котором лучше не вспоминать) — это как легкие напоминания, что она все же из плоти, а человеческая плоть всегда несовершенна, даже если прекрасна.

— И что же — спрашивает она, чуть растягивая гласные, с ленцой приоткрывая губы, от которых глаз не отвести, — ты думаешь, что публика поймет Менандра¹¹ без перевода?

— Кто поймет, — усмехается он, — а кто сделает вид. Всякому ведь стыдно будет признаться, что его греческий годится лишь в гавани да на рынке.

— Мне, — она взяла с тарелки сушеную смокву, нежную, чуть присыпанную мукой, чтобы не слиплась с товарками, — не стыдно.

¹⁰ Перистиль — внутренний двор в римском доме, окруженный колоннадой.

¹¹ Менандр — греческий комедиограф IV — III вв. до н. э., самый известный автор т. н. «новоаттической комедии», которая в основном изображала бытовые сценки из жизни аттических крестьян и горожан.

— Ты вообще-то вовремя поняла, Делия, — он невольно следит, как ее крепкие белые зубы терзают плоть плода, — что излишняя стыдливость лишит тебя невинных удовольствий.

— И поэтому ты дружишь со мной, — уточнила она.

— А то! И даже готов для тебя переводить.

— Это пригодится, — она, наконец, закончила со смоквой, — а что же, зрителям не наскучит смотреть одно и то же из раза в раз? Ты же хочешь дать несколько представлений?

— Так они не будут смотреть одно и то же.

— Это как?

— Ну вот, к примеру...

У него с собой свиток, он разворачивает его прямо на коленях, немного перематывает, пробегая взглядом по знакомому тексту...

— Ну вот хоть это место.

Он читает выразительно, даже с ужимками, так и видишь на сцене двух актеров в масках:

— *Что может быть со мной, Лахет, хорошего?*

— *А что с тобой?*

— *О, боги многочистимые!*

На правом башмаке я ремешок порвал.

— *Ну, так тебе и надо, бестолковщина!*

Уж он давно истлел, а ты все жадничал

*Купить другой...*¹²

Она недовольно морщится — не все греческие слова ей понятны. И он быстро переводит, как может, на латинский. А потом продолжает:

— Но смотри, так будет на первом представлении. А кто мешает нам на другом чуть-чуть поправить текст? Ну, например, вместо правого башмака...

— *О, боги многочистимые!*

За левым за плечом ворона каркала.

— *Да что тебе за дело, бестолковщина!*

¹² Перевод с др-греч. О. Смыки. От комедии Менандра «Суеверный» до нас дошло всего несколько строк, все остальные «цитаты» из нее, приведенные в этой книге, придуманы ее автором.

*Ты б лучше замахнулся крепкой палкою —
И с глаз долой...*

Или еще что-нибудь. Мало ли на что отзываются люди суеверные! И будут ходить ко мне на представление по два, по три раза — и даже спорить, угадывая, над чем будут смеяться сегодня!

Она одобрительно улыбается:

— Здорово придумано. А у меня тут, представь, своя комедия. И тоже не без суеверий. Ко мне привязался один мальчишка...

— Разве только один? Ты недооцениваешь себя!

— Не мешай рассказывать. Такой один. Воздыхатель. Довольно милый, стройный, высокий, будь он чуть поувереннее в себе — был бы похож на legionера или гладиатора, есть у него какая-то жесткость во взгляде. И ладно бы отирался у порога, как все прочие, в надежде залезть внутрь, но у него там что-то свое, что-то мешает... в общем, то ли принес богине обет безбрачия, — но тогда зачем ошиваться у моих дверей? — то ли просто нерешителен, как подросток. Хотя вполне себе носит тогу.

— Ты знаешь, кто он?

— Да нет... впрочем... мне называли имя — он нездешний. И вроде мы с ними не в родстве. Я уже забыла, как его зовут. Но если ищешь постановки — вот тебе сцена. Можешь его разыграть, я разрешаю.

— Это всегда забавно, шутить над влюбленными. Но не жестоко ли, Делия?

— Поучительно. Нечего зариться на высокий виноград, как та лисица.

— Я смотрю, ты читала Эзопа...

— Нет, у нас в городке все так говорили. А что, Эзопа¹³ уже переложили на латинский?

— Боюсь, что нет, — вздыхает он, — но могу найти тебе грамматика и ритора, который наставит тебя в греческом.

— Мне пока хватает, — отмахивается она, — а когда ваше представление?

¹³ Эзоп — греческий баснописец VII-VI вв. до н. э. Его произведения до нас не дошли, но многие его сюжеты были использованы подражателями, в частности — лиса и высоко растущий виноград.

— Завтра вечером. И лучшие места, как водится — твои. Сколько вас будет?

— Всколькером? — она не стесняется не только корявого греческого, но и такой же простоватой латыни, — не знаю еще. Разве мальчишку с собой позвать? О, вот отличная мысль. Заодно и позабавимся! На это он, думаю, согласится. И заодно позлаю этих...

Она не уточняет, каких именно ухажеров стремится наказать и за что именно.

— Позови, — ему уже забавно.

— Вот ты и позовешь. Он возле дверей ошивается, сказали мне служанки. Передай ему от меня привет. А впрочем, нет, без приветов. Скажи, если его там застанешь, что хотела бы познакомиться со столь юным... ну там кем-нибудь, ты сообразишь. Но только смотри не спугни. И никаких пока Купидонов, просто приятный день в театре, не более.

— А как я его опознаю?

— По блеску в глазах. Вы, театральные, сходу ловите такие штуки, разве нет?

— Пожалуй, ты права, — рассмеялся он, — позову. Кстати, и пора мне — готовимся к представлению...

— Заходи, — она без тени кокетства подставляет ему щеку для поцелуя, зная, что кто-кто, а ее верный дружок точно обойдется без Купидонов. Это не в правилах их дружбы.

— Непременно! — и он выскальзывает наружу, под серый северный дождь.

Как отвратительно долго тянутся местные зимы — по три месяца! То ли дело на Востоке, мудром и теплом, где он бывал прежде... Но что поделать, что поделать, от таких денег, как в Аквилее, ему будет трудно отказаться. Да ведь жизнь и в непогоду скрашивают мелкие открытия — например, вот этот паренек, что с деланным безразличием прохаживается неподалеку от дверей Делии: вылитый персонаж новоаттической комедии, неудачливый любовник...

Впрочем, в те годы комедии Менандра еще не называют новыми и аттическими.

Когда с Феликсом заговорил этот человек — из тех, кого не выделишь в толпе, но встретив, уже не забудешь, — его обдало жаркой волной. Неужели его привязанность, его страсть — недолжная, если верить Константу, страсть! — настолько заметна окружающим, что уже незнакомцы к нему подходят? Тем паче, незнакомцы, вышедшие из ее дверей... И чего было в этом стыде больше — страха Божьего или опаски людской молвы? Правильный ли то был стыд?

И вот теперь он расспрашивал Паулину.

— Мне нужен твой совет... Она приглашает меня на представление сегодня под вечер.

— Представление?

— В городском театре дают комедию Менандра.

— И ты хочешь пойти?

— Я не знаю.

— Отчего бы тебе не спросить совета у епископа?

— Я уверен, что он скажет «не ходи».

— Так и не ходи. Или сначала спроси его, а потом не ходи уже по его, а не своей воле.

— Я... я так не готов.

Он и самом себе, пожалуй, не мог объяснить, почему. Он безмерно уважал Константа, он старался быть хорошим членом общины, — а значит, повиноваться ему как отцу. Но бывает ведь так, что отец чего-то не понимает, не чувствует, — и тогда нужен кто-то вроде мамы.

— И как тебе могу помочь я? Никогда не давала советов молодым людям...

Она улыбается чуточку печально и чуточку задорно. Ну что, мальчишка, ты не слушаешь свою маму — а чего пришел ко мне? Думаешь, я тебе ее заменю, стану правильной, настоящей? Я не та, кто тебя родила.

И память о том, что ее сын уже не нуждается в советах — и от памяти никуда не деться.

— Наверное, твоя собственная жизнь похожа на трагедию, — отвечает Феликс невпопад, с уважением глядя на шрам на лице.

— Да нет, скорее комедия вышла. Слишком уж часто все вели себя как полные дураки.

Феликс не верит. Но не хочет спорить и переспрашивает:

— А ты читала комедии?

Он и не смеет предположить, что она могла ходить в театр.

— Аристофана, — кивает она, — там, где я жила раньше, откуда-то взялся Аристофан¹⁴. Надо же. Очень смешно и хорошо пишет, такой сочный, свежий язык...

— Его уже не ставят. Слишком сложно.

— Так и жизнь сложна, — соглашается она. — Пролог ее — он где-то не здесь... Содержание комедии определяем не мы. Но от парода до эксода, от выхода хора на сцену до его ухода, это вот наше. Тут уж мы носим маски. И еще вот эти стасидии, — когда все остаются на месте, а движется только действие. И парабаса, когда хор обращается к зрителям, учит их жизни, спорит с кем-то. Это у нас всегда, мы без этого не можем. И, конечно же, агон, борьба двух главных персонажей. И забавные поучительные эпизодии¹⁵ — самое интересное в них, череда происшествий. Только в жизни идут эти части в произвольном порядке, а не как у комедиографов.

— Они ставят Менандра, — мрачно ответил Феликс, — у него нет этих частей. Ничего нет, кроме забавных историй. Просто какие-то дураки ругаются друг с другом, потом тот, кто хитрее, обводит вокруг пальца тех, кто попроще, и поступает, как ему выгодно и удобно.

— Жизненно, — согласилась она.

— Так мне не ходить?

— А еще у жизни бывает свой коммос¹⁶, свой плач, похороны собственных надежд. Ведь если никто пока не умер, это же не значит, что некого оплакивать, верно? В комедиях не бывает коммоса, впрочем, ты говоришь, что в нынешних комедиях не бывает и всего остального.

— Идти ли мне? — Феликс настойчив.

¹⁴ Аристофан — самый известный др.-греч. комедиограф (V — IV вв. до н. э.). В его произведениях встречалась острая политическая критика, высмеивались любые люди и даже боги. Ко временам Менандра такая смелость стала невозможной.

¹⁵ Пролог, парод, эксод, парабаса, стасидии, агон, эпизодии — составные части классической греческой комедии (описание их приведено в тексте).

¹⁶ Коммос (плач) — составная часть классической греческой трагедии.

— Не знаю, друг мой, — улыбается она, — как захочется. Не думаю, что смеяться — грех.

— Но театр — языческий!

— Как и весь наш город. Если совесть не пускает — не ходи. А если сомневаешься...

Она хотела бы сказать «спроси епископа», но он уже не спросил. Видимо, по той простой причине, что знал ответ заранее.

— Не пойду! — спешно отвечает Феликс, словно предупреждая этот самый вопрос, — а к тебе вернусь завтра, заберу священный сосуд.

— Заходи, поболтаем. Мне скучно одной, я помогаю Филоксену с хозяйством, а иногда и немного с ремеслом, но знаешь, работать уже трудно, больше наощупь приходится. К тому же он совсем неразговорчив, а старость порой болтлива...

— Обязательно приду! — в ответе Феликса звучит скрытая радость, — маран-ата!

Торжественное приветствие, возвещающее приход Господа — не слишком ли пафосно для обычного прощания? Но он такой, горячий неофит... новообращенный.

— Приходи сперва ты, — улыбается она, — и будь здоров. Vale¹⁷.

— И ты будь здорова!

Он заглядывает в лавку: попрощаться с хозяином дома, — и идет к дому возлюбленной — передать через привратника, что не сможет принять приглашение по особым обстоятельствам, но сердечно благодарит за него.

Почему его так тянет к Паулине, этой благородной... нет, слово «старуха» здесь неуместно, к этой достойной матроне — этого он пока не понимает и сам.

Но день на этом не завершен, долгий, сложный, день Солнца, как говорят вокруг, или Господень, как называет его он заодно с единовѣрцами. Едва он отошел от двери Делии, его поприветствовал какой-то невнятный человек в сером плаще с капюшоном. Хотелось бы сказать, что он был надвинут на самые брови, но на самом деле

¹⁷ *Маран-ата* (арамейск. «Господь грядет») — христианское приветствие, *vale* («будь здоров») — обычное латинское.

незнакомец не прятал лица — такое не спрячешь. Горбоносый, курчавый выходец с Востока, каких много в Аквилее, со сладким и одновременно хищным взором черных глаз, постарше Феликса. Он назвал прежнее, римское имя, которое Феликс старался забыть.

— Мое имя Феликс, — тут же отозвался он, — а кто ты?

— Маний Цезерний, — представился он, — но если хочешь изначальное имя, Иттобаал. Я финикиец родом, торгую тканями, а мой патрон — Тит Цезерний Стациан.

Феликс невольно вздрогнул. Он достаточно нахватался слов из Писания, чтобы услышать в имени чужака прозвание лжебога Ваала. И он, оказывается, из клиентелы¹⁸ самой влиятельной аквилейской семьи...

— И у меня есть к тебе дело особого свойства.

— Я не покупаю и не продаю тканей.

— Еще бы, человеку из такого рода, как твой, это не пристало. Но мое дело совсем иное. Ты нужен Цезерниям.

— При всем моем почтении к этому прекрасному дому... чем?

Он хотел было сказать, чем они могут быть полезны мне, но вовремя сдержался.

— Я думаю, обсуждать это лучше не здесь и не сейчас. Что, если нам за час до заката прогуляться по Юлиевой дороге за пределами городских стен, подальше от морской сырости в этот зимний день? Смотри, дождь кончился, вечер обещает быть сухим. И в театр ты, как я слышал, не собираешься.

— Объясни, чего от меня ждешь.

— Не волнуйся, — хитрый хананей¹⁹ оскалил белые зубы, — какой же торговец выкладывает сразу весь товар и называет конечную цену? Поговорим сперва... ну, скажем, об одной общности людей, которая может навлечь на себя гнев правителей, особенно после эдикта божественного Траяна²⁰...

¹⁸ *Клиентела* — совокупность клиентов, то есть людей лично свободных, но зависимых от своего патрона (знатного и богатого человека), выполняющих его поручения и использующих его ресурсы.

¹⁹ *Хананей* — коренной житель Ханаана до расселения израильтян. В Библии хананеи описываются как язычники и как торговцы.

²⁰ Эдикт о запрете тайных обществ, который применялся к христианам, был издан императором Траяном в 99-м г. н. э. После запроса наместника Вифинии Плиния Младшего

Намекнуть яснее было нельзя. Отступать — тоже.

— Я буду там за час до заката — твердо сказал Феликс.

Что за день сегодня ему выпал!

А вечер и вправду выдался безветренным и сухим, какие редко случаются в зимнюю пору в Аквилее — подходящая погода и для театральных представлений, и для загородных прогулок. Финикиец его уже поджидал у городских ворот, и они, словно двое давних приятелей, неспешно двинулись по мощеной дороге, помнившей чеканные шаги легионов и грохот варварских повозок (тогда всем казалось, что его в этих краях впредь уже не услышат). За городом живых сразу начинались обители мертвых — семейные гробницы, сперва пышные, как у Цезерниев, потом попроще, а затем они уступали места пустым в эту пору садам, полям и хозяйственным постройкам в отдалении. Напоминание о бренности жизни и о возрождении всего живого новой весной.

Что останется от нас через тысячу или две тысячи лет? — подумал Феликс. Имена. Имена на гробницах. Имена тех, кто похоронен, и божеств, которым приносили свои мольбы хоронившие. И если кто из них додумается поместить на камень еще пару строк от себя, изречение любимого поэта или выражение скорби, — это и будет единственным следом на земле, единственным свидетельством, что мы не просто знали буквы и умели обтесывать камень, но думали, чувствовали, любили и страдали. Некрополи, города мертвых, — вот что расскажет грядущим поколениям о том, как мы жили.

Но пока что надо было жить, а значит, выяснить, что нужно финикийцу.

— Как ты меня нашел? — спросил Феликс, сходу переходя в наступление.

— Не хотелось вторгаться в дом, где ты живешь, следить у всех на виду, — пожал плечами финикиец, — а у каких дверей ты бываешь чуть

он отдельно разъяснил, что христиан следует казнить уже по факту их принадлежности к такому тайному обществу. При этом он настаивал, что проводить специальные розыски не надо, а только реагировать на доносы, и что перед казнью христианам надо давать возможность отречься. Это считается началом целенаправленной политики Рима — гонений на христиан (прежде это были разовые эпизоды, пусть даже масштабные, как при Нероне).

не каждый день, выяснить было не так уж и трудно. Хороший торговец, он как кот — умеет ждать.

— Похоже, ты торгуешь не тканями, а сведениями, — Феликс продолжал наступать.

— Тогда держи суму шире, отсыплю тебе бесплатно, на пробу, как будущему покупателю и, возможно, оптовому. Ко взаимной выгоде!

Трудно было не улыбнуться изворотливости человека, который так старательно не обижался.

— Но у меня будет одно условие, — отозвался финикиец, — знания — они из тех товаров, что не любят суеты. Ты обещаешь, что все сказанное мной далее останется между нами?

— Как я могу сказать это заранее, — Феликс чувствовал подвох, — если ты сообщишь мне о чем-то крайне важном, то...

— Сообщу о крайне важном. И предоставляю тебе разбираться с этим знанием самому. Но я жду от тебя твердого обещания, что ты никому и никогда не скажешь о том, что ты услышал это от меня.

Феликс колебался недолго. В самом деле, он ничего не потеряет — молчать он умеет, он не из тех болтливых бабенок, которые... А знание — это всегда ценность, даже если исходят от язычника. И надо же в чем-то проявить и свою добрую волю к этому человеку!

— Обещаю.

— Вот и ладно. Итак... Как тебе известно, божественный Адриан не так давно разделил всю Италию, кроме окрестностей Рима, на четыре области, поставив во главе каждой из них консулара. Не нам в любом случае обсуждать решения божественного, но, как ты понимаешь, теперь главный вопрос: будет ли Аквилея самой надежной опорой и верной младшей сестрой града Рима? Или же она вместе с прочими итальяскими городами станет всего лишь провинциальным захолустьем, городком, какие могут быть в дикой, но прекрасной Далмации или, да помилуют нас боги, Мавритании?

— И чем я могу помочь?

— Не торопись, Феликс. Что ценит божественный Адриан выше всего в подчиненных ему городах и весях?

— Повиновение.

— Ты прав. Безусловную верность его верховной власти, и спокойствие, еще раз спокойствие. Что нарушает это спокойствие, я не буду тебя спрашивать. Я спрошу другое: новый человек, консулар нашей области, что будет он искать в первую очередь? Мятеж, не так ли? А если нет мятежа — то предпосылки к нему. А что может быть тут опаснее тайных обществ?

— Траян не велел заниматься розыском...

Он хотел назвать это имя, но не решился. А финикиец, не смущаясь, дополнил:

— ...розыском христиан, верно. Но велел расследовать доносы. Теперь следующий вопрос: чего больше всего жаждет публика? Хлеба и зрелищ, не так ли? Хлеба у нас, благодарение богам, хватает, но его в любом случае не создашь из ничего. Кажется, вы рассказываете, что ваше божество именно так устроило всю вселенную? Но у городских наших магистратов это, досточтимый Феликс, никак не выйдет. А вот создать зрелище на пустом месте — это мы умеем отлично, и очень даже задешево, очень! И есть зрелища покруче Менандровой комедии, мало кому понятной в деталях. Это...

— Люди и звери на арене, — ответил Феликс. Шутейный разговор выходил на страшное.

— Совершенно верно. А какой самый простой, дешевый и удобный способ устроить на нашей городской арене, в нашем цирке, показательные казни, даже еще и массовые? Не отвечай, любезный Феликс, мы оба знаем ответ. Написать доносы на христиан. И будь уверен, они пишутся. Ну, или будут написаны.

— И что ты предлагаешь мне?

— Не торопись с оценкой товара, дай показать его со всех сторон! А вот теперь смотри: нужны ли почтенным домам нашего города, к примеру, Цезерниям, все эти кровавые кишки на львиных мордах? Нужно ли им портить отношения со своими добрыми соседями, согражданами, торговыми партнерами только на том основании, что кто-то из них увлекся — ну, так ведь бывает — почитанием нового божества?

— Никакого не нового...

— Я знаю, знаю, как вы к этому относитесь. Необычного для нас и для Рима, матери городов, скажем так. Доносам не очень-то дают ход, когда они появляются. Доносчикам объясняют, что им жить в Аквилее и дальше. Улавливаешь мысль? Да и не так много этих доносов, один-два в год, если честно. Но вот с консуларом... Назначен новый, ты же знаешь, он прибудет в Аквилею, столицу северной области, дней через двадцать, а вернее всего, через месяц, и доступа к его секретарю у нас пока нет. Будет наверняка, но пока нет, к сожалению. Что до тех пор проскочит мимо нас, можно легко догадаться. И еще легче догадаться, какотреагирует консулар на доносы. Как это вы такое у себя под боком проглядели? Христиан на арену! Львов, да побольше, посвирепее, бездельники! А гладиаторы для казнимых еще пострашнее львов выйдут. То-то будет поживы гладиаторской школе...

— Не пугай меня, — твердо сказал Феликс, — наш род не привык бояться.

— О да, — с улыбкой отозвался финикиец, — о каком бы роде ты ни говорил, старом римском, не ниже Цезерниев, или о своем новом роде почитателей этого иудейского философа, — я не сомневаюсь ни секунды. Но скажи мне, что ты предложил бы моему господину и другим господам Аквилеи делать в таком положении?

— Твой господин, — с расстановкой ответил Феликс, — еще не вернулся из своего путешествия на Восток с цезарем Адрианом.

— Это совсем не значит, что его не заботят дела в родном городе, — парировал тот, — я ведь тоже не забываю о родном Тире. Там, кстати, много ваших, вполне приличные люди и достойные поставщики, посылают нам, италийским, качественный пурпур. Так вот, я скажу тебе, что будет удобнее всего для Цезерниев и выгоднее всего для Аквилеи, да и для вашей общины, смею думать, тоже.

— И что?

Феликсу становилось жарко, несмотря на прохладу вечера. Он распахнул плащ, он не видел перед собой дороги, только лица, лица братьев и сестер христиан...

— Пусть ущерб будет поменьше. А для этого стоит упредить удар. В случае — я подчеркиваю, только в этом случае, впрочем, вполне вероятном, — если новый консулар даст ход расследованию о тайном

сообществе христиан, мы поможем его провести. Но мы представим дело так, словно речь идет о нескольких заблудившихся овцах, которых, может быть, даже не стоит тащить на арену. Достаточно будет высечь и заставить отречься от своих суеверий, ну или — не кипятись, не надо! — сделать вид, что они отреклись. В самом худшем случае — я подчеркиваю, в самом, если такую нить прядут для нас Мойры,²¹ — отправить на арену одного-двоих. Консулар, в конце концов, тоже не кровавый безумец вроде какого-нибудь Нерона²².

— «Божественного», — съязвил Феликс, чтобы скрыть другие чувства, — ты забыл добавить «божественного»²³.

— Нерона забыл добавить божественного, — осклабился тот, — именно так. Вот точно позабыл его добавить. Ну что, будем его добавлять в нашу Аквилею?

— Чего ты хочешь от меня?

— Товара. Качественного товара. Некоторых — подчеркиваю, некоторых, по твоей доброй воле отобранных! — сведений.

— Я ничего не скажу.

— Я тебя умоляю... кто ваш, как вы это называете, надзиратель, то есть по-гречески «епископ», в чьем доме вы собираетесь и что на полу у вас там петух с черепахой, символ непримиримого разделения света и тьмы — это известно и без тебя каждому мальчишке в нашей гавани. Но представим себе... вот просто предположим... что верхушка вашего сообщества, — ну ладно, не такого уж и тайного, — договорится с первыми людьми города. С Анниями, Барбиями, Плоциями, Гавиями, даже с хорошо знакомыми тебе Мутилиями и прежде всего, разумеется, с Цезерниями, в нынешних обстоятельствах — прежде всего с ними. А уж префект вместе со всеми своими прокураторами²⁴ прислушается к их голосу, будь уверен. Неформально так договорится. На что мы закроем глаза не только себе, но и консулару, а чем-то, или даже кем-то, придется, в крайнем случае, пожертвовать. Просто чтобы в

²¹ *Мойры* — богини, прядущие нить судьбы каждого человека.

²² *Нерон* — римский император (54 — 68 гг. н. э.), прославившийся своими безумными выходками и ставший образцом недостойного императора. Гонитель христиан.

²³ *Божественный* — один из официальных титулов римских императоров.

²⁴ Здесь перечислены самые известные семьи римской Аквилеи. *Городской префект* — высшая должность в городе, *прокураторы* — руководители отраслевых служб.

этом случае не растеряться. Чтобы на арену не потащили, да продлят боги его дни, епископа Константа, уважаемого человека и надежного партнера, чья стеклянная посуда всех цветов радуги расходится по кругу земель. Да еще и пару сотен человек в придачу. Нет, пусть это будет какая-нибудь милая и бесполезная старушка-чужестранка, которую всем будет жаль, даже палачу. За нее никто не станет мстить, да и оплакивать долго ее не станут, зато семижды подумают прежде, чем затевать такое в следующий раз. А она мирно сойдет в Аид... или что у вас там... чуть раньше назначенного срока — зато прославится среди вас, как одна из великих. Разумное решение, согласись!

— Меня, — ответил Феликс так просто и так ясно, ответ был правилен и не подлежал пересмотру.

— Что, прости?

— Берите меня. Сегодня. Завтра. Когда приедет консулар. Я готов заявить на арене «я христианин» — и всё.

— Ой, не всё... не всё, Феликс. Ты знаешь, из какого рода новый консулар? А из какого ты сам? Всё понятно? Скорее все наши прокураторы будут висеть на крестах вдоль этой дороги и воронов кормить, чем волос упадет с твоей головы, так, кажется, у вас говорят. Разве что по личному приказу божественного Адриана.

— Я римский гражданин. Я потребую суда у цезаря. Я назовусь христианином.

— Отличная идея, — рассмеялся тот, — и тебя отправят к нему на суд. Он, кажется, ныне во Фригии? Или уже в Афинах? А может быть, он пожелает почтить Антиноя и вернется в Египет? Ты предпримешь увлекательное путешествие за казенный счет, как этот ваш Павел, года через два или три ты его нагонишь где-нибудь в Сирии или Киренаике, чтобы рассказать ему о дорожных впечатлениях, они, несомненно, будут яркими. А тут, в Аквилее, придется отправить на арену несколько больше людей, чем предполагалось заранее, ведь публика будет жаждать крови, раззадоренная твоей неприкосновенностью. О, как она будет ее жаждать!

Некоторое время они шли молча. Солнце уже скрылось за холмами, бледный свет растаял, повеяло ночной зябкой жути, мраком

смерти и страха — от слов этого горбоносого человека, не от аквилейского заката.

— Пора поворачивать обратно, — спокойно сказал финикиец, словно двое приятелей на прогулке обсуждали забеги на ипподроме и цену вина на рынке, а не грядущие казни.

— Я подумаю, Маний. Скажу тебе завтра. Здесь же, в тот же час.

Не звать же змея-искусителя этим его вааловым именем... Сходу отказаться — но не значит ли это бежать с поля боя? Его предки никогда так не поступали, кроме одного-единственного раза, которого так всегда стыдился отец... Или согласиться? Но это значит стать лазутчиком врага.

А перед глазами стояло лицо седовласой женщины со шрамом, с отуманенными от возраста, но такими зоркими глазами. Он внезапно понял, что жертва уже выбрана и назначена, что финикиец говорил — о ней.

Парод. Где ты?

Человек умирал — это было ясно сразу. Высота жаркого неба отражалась в его глазах, а кожа, светлая от рождения, не то, что у смуглых обитателей пустыни, подернулась тем же серым налетом, что и камни, но не от пыли, а от боли. Он лежал при дороге, приткнувшись, как ему удалось в этот страшный час, и лицо его было повернуто к Горе. Он был из тех, кто не дошел. Она прежде не встречала их на своем пути, — но ведь должны были быть и такие!

Рядом с ним на камень присела златокудрая девочка лет восьми-девяти, в том возрасте, когда сквозь миловидность детства начинает проступать женская красота, когда невинность обретает сознание, а мир вокруг еще кажется добрым и вечным. И вот ее мир — умирал, а она держала его за высохшую руку и смотрела в его лицо отстраненно, словно оно было чужим, словно на нем она пыталась прочитать знаки собственной судьбы.

Паулина подошла ближе.

Он повернул голову и взглянул глубоким бледно-синим взором, отчего-то таким знакомым, без тени удивления или просьбы, — словно давно поджидал ее тут и не мог, не повидавшись с ней, отойти в царство теней, в селения усопших, на поля счастливой жатвы или в сад Эдема, — куда бы ни направлялся он от рождения до этого самого часа. Вот только лица она не узнавала.

Человек разлепил синеватые губы и заговорил. Нет, это не был гортанный язык верблюжьих людей, она его уже научилась распознавать, это было древнее, почти как камни и небо, наречие, певучее и хрипловатое одновременно, состоящее почти из одних гласных, которые взмывали аистами в небо и ястребами падали вниз. Он словно бы пел гимн неизвестной красоте на незнакомом языке, но он обращался прямо к ней. Он показывал на девочку, он гладил ее по волосам и протягивал руки к Паулине. И не нужно было слов, чтобы понять затихающий стук его сердца: сбереги, позаботься, спаси.

Никто и никогда в этом мире прежде не замечал ее, не разговаривал с ней. Может быть, это было доступно лишь тому, кто

встал на самый край мира, почти ушел из него, чье зрение истончилось, чтобы видеть гостей из иных измерений — не так ли и в нашем мире ангелы являются немногим? А может быть, он принял ее за ангела?

Она могла попытаться объяснить, что путь ее темен, что не знает она, примет ли ее Гора, что нет у нее ни пищи, ни даже воды этого мира — но разве отказывают умирающим в таких просьбах? Он чуть приподнялся на локте, потянулся взором к девочке, к Паулине, к Горе — и слабым жестом, мановением ладони сказал: пора, уходи.

И она пошла. Девочка не простилась с ним, она равнодушно позволила взять себя за руку, она глядела прямо перед собой и молчала. Ее босые ноги под длинными складками одежды ступали то на раскаленное, то на острое, но она не замечала, словно шла по гладкому полу в собственном доме. И глядя на ее маленькие ступни, Паулина заметила, что и сама оставила обувь где-то там по пути — но идти не больно. Идти было страшно, потому что впереди была Гора. Она нависала грозовой тучей, переливалась тысячами граней, и на нее надо было взойти.

Тропа начиналась перед ней, издали неприметная, а вблизи — ясная, простая, вытертая тысячами подошв. Сначала людские ноги ступали по камням почти случайно, не выбирая, но некоторые камни казались людям чуть удобней других — и вот первые сотни и тысячи отполировали их, превратили в ступени, и следующим мириадам уже было видно, куда ступать. Никто не размечал тропы на этой Горе — она возникла сама, людские шаги породили ее.

Слева виднелись развалины чьих-то построек из тех же местных камней — спешных и непрочных убежищ, разметанных первым же землетрясением, если не бурей. И на камне, удобном, чтобы переждать дневной зной в тени остатков стены, сидел Старец. Так его называть она стала сразу. Он сидел, не поднимая лица, скрытого за грубой серой тканью капюшона, похожий сразу на все эти камни сразу — и все же живой. Он сидел у начала тропы, и пройти можно было только мимо него. Но мимо него нельзя было пройти. Он должен был ее заметить, как заметил Полуживой.

Зной разгорался в небесах, теней почти не было, и солнце уже захватило край его широкого ветхого плаща. Она подняла глаза — над ними хищно кружил ястреб, или может быть, сокол. Она совсем не

разбиралась в ловчих птицах. Он высматривал мелкую наземную добычу, а ее саму — видел насквозь. Был глазами Старца.

— Здравствуй, — робко сказала она, подойдя ближе.

Тот поднял глаза, чуть кивнул и так же — почти незаметно — улыбнулся. Показал ей рукой на камень рядом, тоже в тени, и слегка сдвинул назад капюшон — чтобы лучше слышать. Она присела, и девочка присела рядом с ней, такая же молчаливая и безучастная, как и прежде, — но кажется, она сделалась младше, ей было теперь лет пять, она выглядела как малыш, который вдоволь наигрался и у него слипаются глаза, но он не спешит признаться даже себе самому, что хочет спать.

— Я не была сегодня на собрании. И даже не знаю, почему, — спешно сказала она, чтобы с чего-то начать. Тело ломило, но не от дальней дороги, не от неудобной позы — от груза, который тащила она в себе. И еще: Старцу нельзя было лгать. Даже про свое «не знаю».

— Вернее, знаю... Там ведь нечему было удивляться. Это плохо, да, что я не пошла туда? Ведь нельзя же требовать, чтобы всегда было удивление, всегда — чудо... Ну я просто так почувствовала, что если это — как белье стирать, привычное, раз в неделю — может, я лучше белье?

Он по-прежнему молчал, только чуть пошевелил рукой — жест то ли сомнения, то ли приглашения к продолжению разговора.

— Знаешь, я же прибыла в Аквилею лет... много уже лет назад. Все тогда казалось таким удивительным, и даже не потому, что давно не бывала в больших городах. Мой город детства тоже казался мне очень большим... Нет, я о другом.

Старец слушал. Он не торопил, не задавал вопросов, у него впереди была вечность, слушать — это было его служение. Взойти по тропе на гору она могла только сама, подгонять окриками было бы бесполезно.

— Община... у нас потом в селении тоже была община. Но у нас она была как бы... как бы продолжением нас самих. В поле работали или в мастерской — и отдыхали часто вместе. И молились. А тут особый дом, особые собрания, мне казалось всё это таким новым, таким ослепительно прекрасным... впрочем, почему я об этом говорю?

Девочка всё так же молча глядела в пустоту. А Старец взглянул в глаза — холодным (в такую-то жару!) пронизательным взглядом.

— Потому что мне это важно, — кивнула она, — знаешь... мы тут говорили недавно о комедии Аристофана. И вот это было — как появление хора. Выходит не просто толпа людей, а стройное единство, во главе хора — хорег, он всех ведет за собой и подает знак, когда запеть, когда смолкнуть. А у нас епископ, тоже всех расставляет по местам, подает свой знак и мы начинаем петь небесам... Так было странно и здорово, что меня, простую селянку, они тоже приняли к себе.

Он ничего не сказал ей в ответ, только отвел взгляд, да уголки губ чуть дрогнули, выражая неверие. Да, она говорила... то, что от нее были готовы услышать там, в Аквилее. И здесь, наверное, тоже нужны правильные слова?

А ведь прошлое в этих снах было всегда под рукой — но на сей раз под рукой Старца. Он чуть повернул ладонь — и всё вокруг пошло рябью, словно море под слабым ветром. И Гора, и небо, и нагретый воздух замутились, отступили — и вот она стоит перед прохладным весенним морем, радуется ветерку, и рядом с ней Мирина — она всё знает, она давно в этой общине, она опекает Паулину.

— Я в церковь хожу уже четыре года, — радостно щебечет она, словно птаха на цветущей ветке, — и всё кажется таким же легким и понятным, как этот весенний ветер, — всех знаю, всё мне до донышка ясно. А ты сколько? Не в Аквилее, я знаю, ты только приехала в нам — а в церковь давно ходишь?

— Я не хожу, — как вдруг просто рождается ответ, сам собой, — я и есть часть церкви. Я в ней родилась.

— Ка-ак? — у той расширяются глаза, — прямо в доме епископа?!

— Нет, ну что ты, — смеется Паулина, — кто же пустит! В родительском доме, конечно. Но ведь церковь — не дом. Это мы. Божий народ. А здания, они...

Мирина не верит.

— Ка-ак? Твои родители что... видели апостолов?

— Не двенадцать. Но тех, кто видел Спасителя — да, несколько раз. Впрочем, отец бывал в Антиохии, он, наверное, видел Павла и Варнаву. Но я не успела его расспросить о них, он умер...

— И поэтому назвал тебя Паулиной! Точно, ты счастливая, ты ближе к истокам, как же ты тогда не понимаешь...

Она щебечет, море шуршит под ногами, отец — и Отец — с небес смотрят на двух девочек с седыми прядями в волосах, которые строят свои крепости на берегу моря, только из слов — вместо песка.

Всё снова плывет перед глазами, волна смывает их постройки, прохладный песок обнимает ступни, как обнимал когда-то и где-то далеко, где всё было иным и дружелюбным — и под ногами у нее мозаика. Петух и черепаха смотрят друг на друга то ли с враждебностью, то ли с горячим интересом. И словно не замечают ее. Но глаза всех, кто собрался на богослужение, прикованы к ней...

— Воспоем Господа, — только что торжественно произнес епископ, и она... она запела. Это был ее любимый псалом — про душу, которая благословляет Господа, и недуги, которые исцеляет он, и про юность, которая обновится, как у орла. Это было немного непонятно: разве у орлов обновляется юность? — но именно эта непонятность и была, может быть, притягательней всего в этом псалме. Встрепенуться, сбросить эти заскорузлые тяжеленные перья, ударить легкими крыльями и взмыть в глубокое небо юности...

Она пела, как пела в прежнем своем селении, когда христиане собирались на молитву, и как пела сейчас ее душа. Но прежде, чем прозвучали слова про орла и юность, она заметила обращенные к ней глаза всех, всех, кто только был в здании. В них читалось изумление и порой интерес: как это, что это, неужели можно просто взять и запеть?

Ее никто не прервал, только собственное горло ей изменило — сжалось, как будто кто-то его душил. Три или четыре других голоса, мужских, затянули совсем другой какой-то псалом, но она его уже не слышала, — а до конца богослужения смотрела на петуха и черепаху, черепаху и петуха. Они, впрочем, тоже выглядели так, словно осуждали ее.

После службы епископ подозвал ее к себе, а она не смела и глаз поднять. Он был помладше ее годами, Константин, да и общину возглавил совсем недавно. Она совсем плохо тогда знала его.

— У тебя прекрасный голос, — сказал он.

— Благодарю, — прохрипела она. Голос спрятался за сжавшимися связками и не хотел выходить.

— Но у нас принято, что поют те, кому назначено.

— Прости. Я не знала.

— И то, что отобрано.

— Я не знала. Прости.

Ей было странно и страшно — она хотела принести Богу тот единственный дар, который могла, который от Него и получила — свой голос. А вышло криво, вышло так, словно она хотела разрушить размеренный порядок, все испортить. И ей это почти удалось.

— А кроме того, — добавил епископ, — у нас принято следовать словам Павла: «Женщина да молчит в церкви». Твое имя ведь Паулина, так?

— Так, — она смотрела себе под ноги, но спасительные черепаха и петух были далеко, здесь пол был ровным, без мозаик.

— Да благословит тебя Господь, — он накрыл ее голову своей широкой ладонью, — а потом протянул ее для целования.

И сквозь рябь, сквозь ветер и туман — ее притягивает к другой ладони. Не протянутой для поцелуя, а сухой и древней, как камни вокруг нее, и высокой, как небо над ней. Старец сидит на прежнем месте, и уголки губ все так же прячут улыбку.

— Ну да, — говорит она запросто, как приятелю, — я тогда обиделась сильно. Не стоило, конечно, но что они... Понимаешь, я пришла в дом Отца. А дом вроде как оказался — епископа.

Старец чуть прикрывает веки. Он слышал много таких историй, наверное. Он согласен с ней или нет? И важно ли его согласие, чтобы идти дальше?

— Нет, я всё понимаю, — она торопливо, словно извиняясь, начала оправдывать своего епископа, — это большой и шумный город, и дом Константа — ну... не просто место для собраний. Это наш общий дом,

по сути. Он наш патрон, нам почти что отец. Иначе не может быть, в этом мире никто не бывает сам по себе, мы — его, мы — при нем. Просто... ну, тосковала я по этой нашей сельской простоте. У нас как-то так было... по-семейному.

Старец ничего не отвечал.

— Может быть, это плохо, что я как бы жалуюсь... Знаешь, я не пошла сегодня на собрание. И совсем не потому, что когда-то обиделась. Мне просто нечему было удивляться.

Так хотелось прикоснуться к его сухой и древней руке, но это, наверное, нельзя, — а сам он к ней притронуться не желал. Брезговал? Не считал достойной?

— Бог, он всегда... — продолжила она, — ну, может, не так, чтобы совсем всегда... но Он — Он разный. С ним необычно как-то. А здесь... я знала заранее, что произойдет, какие будут сказаны слова, кто споем какой псалом и кто как на кого посмотрит.

— Ты ждешь перемен? — неожиданно спросил Старец. Его голос оказался глубоким и тихим одновременно, какой только и может быть в тени горы, — ты действительно ждешь перемен?

— Я... я не знаю, — смешалась она, — мне просто хотелось, чтобы было чему удивляться.

— Будет, — он прикрыл глаза.

И вдруг она поняла, как это страшно — перемены. Всего на мгновение ей захотелось бежать, подальше от него, от своего страха и своей скуки, бежать куда-то туда, где все перемены были по ее воле, хотя и не все, ох, не все приносили счастье...

И ткань сна — расплзлась, как ветошь под пальцами во время стирки.

Она лежит в полной темноте в своей комнате, где все знакомо и привычно, куда пришла она сразу после той истории с пением. Она была не настоящей вдовой, сама про себя это поняла. Апостол Павел ведь писал, о каких вдовах следует заботиться: благочестивых, которые служат Богу и общине всем сердцем, а она — она не могла. Не была достойна, и голос ее, серебряный ее голос, как говорили в селении, был не к месту, смущал, нарушал благолепие, мешал заведенному порядку. Да, она была одинока, была теперь бездетна, всем чужая в этом городе

— но она не хотела обременять собой общину, не могла оставаться в доме Мирины, где та предложила ей пожить, «пока всё не устроится».

Следующим же утром она стала обходить дома людей небогатых, но все же и не нищих — таких, кому могла бы понадобиться служанка. В третьем уже доме — наткнулась на лысоватого сгорбленного человека, который отозвался, едва поднимая глаза от чужой подметки:

— А что ж, и попробуем. Женихаться мне поздно, а постирать-приготовить мне некому. Живи, комнатка пустая есть, осталась от товарища... да ларам²⁵ не забудь возлияние совершить, или что там у тебя положено. Все ж они тут хозяева.

— Я помолюсь о тебе, — отозвалась она тогда, не споря.

— Вот и отлично, — он сразу понял, почему она не может почтить его ларов, но не стал ничего обсуждать, — а хозяйство общее будет. Понравится обоим — так и оставайся.

Она и осталась. С ним было просто и спокойно. И никто из общины не задал ни одного вопроса.

И сейчас она вглядывалась в темноту того самого дома и просила Господа принять ее, как принял Филоксен — такой, какая она есть. Потому что сама она себя такой — не принимала. И сердце, маленькое сердце трепетало бестолковой бабочкой в груди, пытаясь вырваться наружу, взлететь в прохладное зоркое небо, где каждому видно, каким быть. Но, наверное, это случится не сейчас.

²⁵ Лары — семейные, домашние божества у римлян.

День второй. Твердь посреди.

— Театр был полон! Представь себе, даже на самых последних рядах ни одного свободного места. Конечно, ведь это классика! Одна из лучших, считаю, комедий Менандра!

— Квинт... то есть Филолог... а комедия эта — она вообще о чем?

Квинт Мутилий не любил своего первого имени. Ну и что с того, что ты у родителей родился по счету пятым? Что же, так до смерти и носить на себе порядковый номер — Квинт? Он с гордостью называл пусть и не особенно знатное, но древнее имя местного венетского²⁶ рода Мутилиев. Но по-настоящему польстить ему можно было только его прозвищем — Филолог — которое он, как поговаривают, дал себе сам. Он и был филологом — любословом, но, в конце концов, присваивать себе такое звание немного нескромно.

Квинт, пятый родившийся — вовсе не значит пятый выживший. Старшая сестра, вторая по счету, давно была замужем, остальных унесли детские болезни или «общая телесная слабость», как называли это врачи. Врач — от слова «врать». Фортуна²⁷, судьба, рок, участь — вот что решало. И если судьбе оказалось угодно, чтобы пятый и последний стал наследником богатств престарелого отца и хранителем старческого покоя матери, — кто такой Квинт, чтобы сопротивляться ее велениям?

Да, он признавал, что не ко всем судьба была так благосклонна, далеко не ко всем, начиная с его собственных братьев и той сестренки, что не прожила и года. Хотя как рассудить... кто знает, что ждало бы ее во взрослости? Может быть, Мойры из милосердия оборвали эту ниточку, пока она была короткой и счастливой? Клото, Лахеса, Атропа — имена самих Мойр завораживали, он представлял себе трех старух, или, скорее, женщин цветущего возраста и их диалоги...

— Что-то не нравится мне вот это пятнышко на нити. Нечистая попалась шерсть. Негладкая.

²⁶ Венеты — коренное население северо-восточной Италии, ассимилированное римлянами. Название этого народа впоследствии дало имя Венеции.

²⁷ Фортуна — древнеримская богиня удачи, колесо — главный ее атрибут.

- А ты оборви!
- Нешто не жалко?
- Да ладно, у тебя их вон сколько.

И ласковый полупрозрачный палец наматывает всего одно колечко (на годик жизни!), а другая рука совершает краткий рывок — и плакальщицы приходят в дом Мутиллиев, и приносятся игрушки на алтарь богини Белесты, которую одни считают женской ипостасью Белена²⁸, а другие рассказывают иное...

Так представлял он это себе, размышляя о тех трех детях, которых не застал, которые для родителей навсегда остались малышами, и он их быстро обогнал в росте. Про себя он был уверен: всё будет в порядке, здоровьем он отличался отменным. Расспрашивал о тех троих сестру, старше его на целых десять лет... Но сестра ничего не могла сообщить путного, разве что про пеленки, погремушки, первые слова и шаги, про вялое жаркое тельце на постели, про жертвы богам и плату врачам, и снова про плакальщиц, алтари и возлияния...

Тайны мира открывали свитки. Ничего не менялось в мире с тех пор, как он был вызван к бытию — когда и кем, мнения расходились, — и всё было сказано древними мудрецами. И как сказано, как выражено в камне и красках, а превыше всего — в слове! Да взойти хотя бы к колоннаде Парфенона, взглянуть на мраморное совершенство Праксителя, прочесть пару строк Еврипида²⁹ — и всё остальное покажется замаранными пеленками, сломанными погремушками, листиками и прочим сором, прилипшим к вечно вращающемуся колесу Фортуны...

Когда-то она вознесла ввысь великолепие Эллады, потом могущество Рима — а собственный его венетский род держит пока внизу, в сырых и скучных адриатических лагунах, но настанет, он уверен, и время Венеции — земли его предков, и никто еще не знает, чем удивит она мир. А наверху всяко лучше, чем внизу. И как Квинт

²⁸ Белен и Белеста — кельтские божества, почитавшиеся в Аквилее.

²⁹ Парфенон — храм в Афинах, посвященный богине Афине, построен в V в. до н. э. архитектором Калликратом. Пракситель — древнегреческий скульптор IV в. до н. э. Еврипид — древнегреческий драматург, живший в V в. до н. э., крупнейший представитель классической афинской трагедии.

выбрал себе имя Филолог, так выбрал в удел гражданство Рима и словесность Эллады, ибо не было ничего сильнее и прекраснее на свете.

С Мутиллием (про себя он называл его так) Феликс подружился давно, еще в отрочестве, когда совершал обязательное для отпрыска знатного римского рода путешествие, а вернее сказать, паломничество по Элладе. Много кого перевидал он на коринфских улицах и афинских площадях, но мысль встретить рассвет на мысе Сунион, восточной оконечности Аттики — такое не каждому придет в голову.

Из придорожной гостиницы он выскользнул глухой ночью, не стал будить раба-педагога, своего верного наставника и охранника, чувствуя себя достаточно взрослым в пятнадцать лет для такого приключения. Поселок спал, еще не кричали петухи и даже собаки за ночь устали перелаиваться. И только ближе к храму Посейдона стражник с колотушкой внимательно посмотрел на дерзкого юнца, но пробормотал только «ходят и ходят тут...» — что было совершенной неправдой. Никого не было видно в глухую ночную пору на дороге к храму.

Белая его громада светилась в лунных лучах на фоне иссиня-черного неба и такого же моря, и дальнюю границу между ними было трудно провести человеческому взору. И не сразу разглядел он тонкую фигуру на ступенях — с воздетыми руками, неподвижную, почти скрытую от лунного света тенью колонн.

И тут он услышал голос... Нараспев, не очень громко, да и, честно сказать, не всегда идеально управляясь с мелодией, он сплетал — для богов, для этой чудной летней ночи или для себя самого? — венец слов дивного орфического гимна...

*О черновласый держатель земли Посейдаон, внемли мне,
Конник, держащий в руках трезубец, из меди отлитый,
Ты, обитатель глубин сокровенных широкого моря,
Понтовладыка, что тяжкими мощно грохочет валами!
О колебатель земли, что, вздымая могучие волны,
Гонишь четверку коней в колеснице, о ты, дивноокий,
С плеском взрываешь соленую гладь в бесчисленных*

*брызгах,
Мира треть получил ты в удел — глубокое море...³⁰*

Как он почувствовал, что у него был слушатель? Но закончив петь, обернулся и сказал запросто, как давнему приятелю, сказал на чистом аттическом греческом, на языке Эсхила и Платона, на котором уже и в Аттике мало кто говорил:

— Я собрался встретить Эос и спеть гимны сначала ей, а затем и Гелиосу³¹. Но ведь было бы неучтиво не поприветствовать прежде того владыку святилища...

Это был мальчик его лет, и в темноте плохо были видны черты его лица, но ясно можно было разглядеть, что он тоже очень хотел казаться себе взрослым.

— Я вообще-то Квинт Мутиллий Аквилейский, но зови меня Филологом, так проще. А ты?

Он назвал свое имя, они немного помолчали, наблюдая, как едва светлеет полоска на востоке, обозначая линию горизонта, границу между царством Посейдона и ежеутренними владениями Эос, а когда полоска стала едва розовой — спели ей гимн, раскинув руки, чуть дрожа от волнения и утреннего свежего ветра. И Феликс — тогда еще не Феликс — стыдился своего римского акцента, и не знал слов, и, хотя голос у него был тверже и громче, лишь чуточку подпевал своему новому другу. А тот переливами гласных воспевал не богов, нет. Он воспевал Слово. Вечное, прекрасное слово, которое восходит вот уже сколько веков над священной землей Эллады, а ныне озаряет и скромные италийские поля...

Так началась их дружба, которая длилась уже очень давно, почти десять — ну ладно, — восемь лет. И когда Феликсу — теперь уже Феликсу — пришла в голову счастливая мысль отправиться в Аквилею, не было ни малейшего сомнения, в чьем доме он остановится. Нет, Мутиллий не стал его единоверцем — Филолог не проникся его пламенным рассказом о том Единственном Логосе, которому стоило служить! — но был верным другом и отличным собеседником. Только

³⁰ Перевод с др.-греч. О. В. Смыки. *Орфические гимны* — поэтические молитвы богам, возникшие в мистическом учении орфиков, одном из самых древних в древней Греции.

³¹ Эос — богиня зари, Гелиос — бог солнца, Посейдон (архаич. Посейдаон) — бог моря в древней Греции.

удивлялся иногда, что другие не обладают его титанической памятью на книги, не читают Алкея³² в оригинале и вообще могут ценить в мире что-то больше прекрасных эллинских словес.

И вот сегодня они беседуют за завтраком. Мутилий, разумеется, был вчера в театре и как было его не расспросить о подробностях! А он вновь непритворно удивлялся, распахивал свои серые глаза, поднимал брови, даже морщил слегка курносый (примесь северной варварской крови!) нос:

— О чем комедия? Ты что, никогда не читал «Суеверного»?

— Нет... кажется...

— Но это же одна из лучших у Менандра, как можно! И потом... много ли ты знаешь текстов, в которых встречается давнопрошедшее время страдательного залога от οἷω? «это тогда уже было обдуманно»?

— Ни одного, — честно признался Феликс

— А там встречается! И как, ты думаешь, оно выглядит...

— Слушай, ну расскажи лучше самую историю, — Феликс старательно уходил от ответа. Умение спрягать греческие глаголы из одних гласных никогда не входило в число его сильных сторон, а в страдательном залоге и подавно. Хватало ему и того, что он уверенно определял залог πελαϊδευκώς.

— Ты только представь: ἐώιτο! «Это тогда уже было обдуманно»! Гомер бы лишился чувств от такого, у него есть форма ὠίσθη, но это же другое время. Я вот тоже не сразу сообразил... Мне кажется, вообще Менандр специально выдумал эту форму, с этим жутким утробным зиянием. Она там используется в прорицании, ну якобы в прорицании. И чтобы звучало торжественно и невнятно, он вытацил на свет старинный гомеровский глагол и проспрягал его так, как никто не спрягал. Такая, знаешь, насмешка над этими туманными прорицаниями вроде дельфийских, как хочешь, так и толкуй.

— Комедия-то о чем была? О глаголах? Залогах? Спряжении?

— Да нет, конечно... ну ладно, слушай. История вкратце там такая...

³² Алкей — один из ранних греческих поэтов, писал на мало кому известном эолийском диалекте.

Мутиллий подзывает домашнюю прислугу, велит еще заварить кипятком сбор альпийских трав — в такую скверную погоду полезно принимать горячее, пахнущее летом и горной свежестью зелье с капелькой меда. А вот сушеные смоквы и козий сыр можно уже унести, есть они больше не будут.

— Итак... Жили в одном селении два друга-соседа. Лахет — человек хоть и небогатый, но разумный, обстоятельный, умеренно благочестивый. Притом у него был единственный сын по имени Херей.

— Папаша-резонер и пылкий любовник, судя по именам.

— Разумеется, привычные маски. А вот другой сосед, по имени Демарх, — крайне суеверный, во всем видел дурные предзнаменования и от всего шарахался. И была у него дочь-красавица Софана. Многие заглядывались на нее, но сердце ее принадлежало Херею — да на самом деле, они уже побывали вместе на сельском празднестве в честь Пана со всеми отсюда вытекающими, кроме беременности. А вот отец хотел отдать ее за хвастливого воина Никандра — дескать, куда небогатому сопляку тягаться с прославленным героем.

— Жизненная история. У Менандра всегда что-то в этом роде. Наши, конечно, победили?

— Так, да не так. Тут все дело в деталях. Итак, Лахет пытался убедить Демарха взять собственную жизнь в свои руки, перестав шарахаться от каждого чиха и грома — да только впустую. И тогда он решил помочь возлюбленным. Они вместе с хитрым рабом Демарха по имени Сосия (он как раз был обижен на хозяина за постоянные придирки) подстроили ряд предзнаменований и пророчеств, разумеется, ими самими придуманных, которые показывали ясно: женихом быть Херею. Но один раз всё чуть не сорвалось из-за дурацкой ошибки...

— ...в спряжении глаголов, но в конце — счастливая свадьба. Немного же я пропустил!

— Что ты, ты потерял полмира! У Менандра ведь важно не что, а как. Да, еще там был раб-повар по имени Дав, приятель Сосии — да как же еще и могут звать такую комическую парочку, как не Сосия и Дав³³. Но дело не в именах, конечно, а в сути. Ты вот только послушай...

³³ Обычные имена рабов в новоаттической комедии.

Филолог разворачивает свиток, перематывает его, отыскивая нужное место.

— У тебя что, дома есть весь Менандр? — Феликс поражен.

— Нет, конечно, разве я похож на Креза³⁴? Выпросил на денек другой свиток у Аристарха. Так вот, смотри... Они переодевают Дава-повара в некоего мудреца-прорицателя.

— *На свадьбу стряпать — дело то нехитрое,*

Сумеешь ли ты, Дав, состряпать свадебку?

Замаринуй упрямца ты в пророчествах,

Приправь его туманным предсказанием,

Затем зажарь...

— *Убить его советуешь?*

— *Глаголом жги до сердца и до печени,*

А не огнем...

Ну, тут надо еще видеть, как они его переодевают, с ужимками, с плясками.

— *Что зрю, о боги! Нет пред нами повара —*

Се корибант, се мист на Дионисиях,

Вакхант³⁵ и прорицатель доморощенный!

А вот и он, наш суеверец...

Эй, сосед!

Смотри, кого судьба к тебе направила!

И дальше, дальше этот переодетый повар ему пересказывает придуманное видение о споре Афины с Аресом, который, разумеется, заканчивается полной и окончательной победой богини премудрости. Стало быть, воину не быть женихом прекрасной девы, поскольку вся суть видения в том, чтобы вздорный Демарх выдал дочку за Херея.

— И все так просто?

— Ничуть! Демарх, как и свойственно суеверным людям, учуял подвох. Вот смотри, тут дальше...

34 Крез — царь Лидии, правивший в VI в. до н. э. и слывший баснословно богатым.

35 *Корибанты, мисты, вакханты* — разные обозначения участников таинств, античных мистических культов.

— Почудился мне что-то запах луковый,
И чесночком несет от прорицателя,
Как будто повар... слышу я знакомое
В его гнусавом говоре...

Все на грани провала, ты же понимаешь. И тут Лахет падает на колени:

— Владычица!
Являлась Одиссею хитроумному
Ты многократно в человеческом облике
А ныне ты, Зевеса порождение,
Демархов дом почтить решила...
— Кто это?
— Паллада! Что ж рассудком ты медлителен,
Почти скорей Афину приношением!
— Да я... да кто... да нет в доме ни крошечки,
И трапеза, увы, не приготовлена...

И тут, конечно, мнимая Афина дает ему все инструкции: не нужны ей никакие гекатомбы³⁶, а надо выдать девушку за правильного жениха.

— И в самом деле, забавно, — Феликс уже не просто улыбается, а широко смеется, — надо же, я и не знал, что Менандр так бичевал языческое мнимое богопочитание...

— Суеверия, друг мой, суеверия, стремление некоторых строить свою жизнь, исходя из внешних знаков, которыми всеблагое будто бы обставляют каждый наш шаг, словно больше им и делать нечего.

— Мне кажется, — медленно, с расстановкой проговорил Феликс, — ты гораздо ближе к принятию нашей веры, чем кажется тебе самому.

— Ну что ты, — теперь настала очередь смеяться Мутиллию, — ваша вера... ну посуди сам, не простовата ли она даже в сравнении с Менандром? Как это там у вас... Я ведь наизусть запомнил этот образчик: «И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды... и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью». Кому в голову придет наслаждаться таким чтением? Косноязычный лепет человека, который не может отделаться

³⁶ Гекатомба — самое торжественное жертвоприношение (буквально «сто быков»).

от этой своей водянистости и переливает ее из пустого в порожнее, не в силах подобрать ни одного нового слова. Нет бы назвать ее влагой, росой, бездной морскою, лазоревой глубиной...

— Истина не нуждается в украшательстве.

— Все равно, что сказать, будто мясо не нуждается в готовке — все равно, можно насытиться и сырым! Или что красавица не нуждается в одежде, ведь все равно...

Мутиллий попал в большое. Феликс не о Менандре собирался его расспрашивать — он хотел совета, которого боялся просить у Константа и которого так и не получил от Паулины.

— Раз ты все сводишь к этому...

Он помедлил, отпил уже остывший травяной отвар из своей чаши и все-таки решился начать.

— Мне нужен совет, друг. Я не знаю, как мне поступить. Мне нужен совет не знатока всех этих свитков, которые помещаются в твоей голове, а просто человека, с которым мы всегда друг друга понимали.

Мутиллий молчал. Это был тот редкий миг, когда он действительно слушал — именно в них и заключалась для Феликса главная ценность их дружбы.

— Я влюблен, мой друг.

На лице у Мутиллия не отразилось ничего, и Феликс слегка ужаснулся: неужели это настолько же очевидно, как и зимняя погода на улице? Он, поди, знает, и в кого? Да полгорода уже, похоже, знает.

— Вот представь себе, что ты влюбился в женщину или деву, которая... — Он давно подобрал эту аналогию, но чуточку все же робел высказать ее вслух. — Которая совсем не умеет читать. И даже не хочет, ну, по крайней мере, пока не хочет учиться. Для которой что Менандр, что Платон, что Гомер — пустые, никчемные имена. И ты не уверен, что тебе удастся ее переубедить. Что ты скажешь?

— Что я скажу? — в глазах у того забегали искорки, — Ну, мой друг, я бывал в таких ситуациях. И обычно я уточнял условия у владельца лупанария³⁷. Друг мой, ты спрашиваешь о неотесанной деревенщине, которая, разумеется, может быть исключительно привлекательной внешне и хороша на ложе. Но она с высокой долей

³⁷ Лупанарий — публичный дом в Римской империи.

вероятности окажется или чужой рабыней, и тогда мне ничего не светит, или девкой на продажу. И в этом случае вопрос только в цене. Несколько ассов³⁸ за раз — и не стоит говорить с ней о Платоне.

Фекликс вспыхнул. В лупанариях он бывал... прежде. Да и кто не бывал из юных и состоятельных римлян!

— Но я же не о том...

— А о чем? Ты полюбил свободную, самостоятельную, независимую женщину, с которой хочешь связать свою судьбу... ну хотя бы на пару-тройку лет, пока не прискучит?

Нет, он, конечно, знал, что это Делия.

— Да... то есть я не знаю, хочу ли, и не на пару-тройку...

— В чем трудность? Как ее уговорить?

— Нет. Могу ли я себе позволить...

— С твоим-то состоянием?

— Да я не о том.

— Не заморачивайся, вот тебе мой совет, если он тебе потребен. Как вести себя в делах любовных — ну, знаешь, есть знатоки и посерьезнее меня. А если ты спрашиваешь, откликаться ли на зов своего сердца, — какой иной ответ могу тебе дать я, который всегда так и поступал? Иди, разумеется! На год или два, или до скончания жизни — все это ты узнаешь и определишь для себя сам. Право, ты вышел из младенческого возраста, когда должен спрашивать у педагога, можно ли взять сладкое. Все сладкое мира — твое, если ты можешь его получить.

— Ты же знаешь, что для меня это не так.

— Знаю, — удовлетворенно хмыкнул Мутилий, — но чего тогда спрашивать меня? Спроси тех, кто тебе сегодня запрещает. Кого ты сделал своими дядьками-педагогами.

— Пожалуй, ты прав, — с сомнением отозвался Феликс.

— А мой совет будет прост: добивайся, чего пожелаешь. Что такое женщина? Одна — для утоления зова природы, другая — для приятной беседы и родства душ, третья — для порождения здорового и знатного (в твоём, конечно, случае) потомства. Уж не надеешься ли ты обрести все три цели в одной из них? И чтобы мудра была, как Афина Паллада,

³⁸ Асс — медная монета.

и прекрасна, как Елена Троянская? Фантазии, друг мой, пустые фантазии.

— Пойду я уже, — засобирався вдруг Феликс, — есть еще дело...

— Я задел тебя речами? Но ты же сам просил совета.

— Меня задел не ты, Мутилий, — с легкой усмешкой ответил тот, и сам выбор имени показывал, как он недоволен, — вот уж не знаю...

На улице Феликс сперва хотел обогнать эту пару: девочка лет восьми с чернокожей нянькой-рабыней лет сорока, — но уж больно забавно они разговаривали. И он пошел следом, делая вид, что никуда не торопится. А на самом деле слушал внимательно.

— Скажи, Нана, — девочка называла ее, похоже, тем младенческим именем, которым пользовалась, когда еще толком не умела говорить, — а ведь Великая Мать — это просто другое имя Благой Богини³⁹, да?

— Что ты! — нянька аж руками всплеснула, — как можно так думать. Великая Мать — это Великая Мать. Чтить ее могу и я сама, как мать чтит, как бабка. А Благоую Богиню...

— Не можешь? — догадалась девочка.

— Могу, конечно, но совсем, совсем по-другому. И не уговаривай рассказать тебе, особенно на улице, где мужчины, — она выразительно обернулась на Феликса и тут же потупила глаза, — могут услышать. Им не положено.

— Это наша богиня, да? Мы даже не раскрываем мужчинам, как ее зовут на самом деле?

— Конечно, — радостно отозвалась нянька, — у нас вообще много богинь. Больше, чем у мужчин.

— Афродита, Диана, Церера, — начала перечислять девочка, — то есть Афродита и есть Диана, да?

— Говорят, — уклончиво отозвалась нянька, — что греки называли так, римляне эдак.

— А на твоём языке как будет, мавританском? — любопытная не унималась.

³⁹ Здесь и далее перечислены божества, которых почитали в Аквилее.



На улице Феликс сперва хотел обогнать эту пару: девочка лет восьми с чернокожей нянькой-рабыней лет сорока, — но уж больно забавно они разговаривали. И он пошел следом, делая вид, что никуда не торопится. А на самом деле слушал внимательно.

— Разве ж я его знаю? Бабка еще на нем говорила, особенно когда серчала... А я тут, в Италии родилась. Так вот, ты запомни: Ферония — она ведаёт источниками вод, её чтут все водоносы. Эракура — она вроде Прозерпины, про плоды и урожаи, но та больше у греков, а это наша, северная, и про неё говорят, будто она спускается под землю, чтобы там жить с мужем. Но на самом деле это про Прозерпину, а в храмах Эракуры, которые древние, которые ещё до римлян были, там другая история, и её тоже на улице нельзя...

— А вот скажи, — девчонка не унималась, радуясь редким в эти дни лучам солнца на домах, камнях мостовой и на собственном личике, — вот есть у нас Госпожи, есть Высокие Силы, есть Высокая Надежда — это же всё наши, женские богини?

— Мужчины тоже к ним прибегают, особенно к Высоким Силам, — примирительно отвечала нянька, — твой отец, к примеру...

— Это они вроде Мойр, да? Или Фортуны? А кто тогда такие Три Рока? Почему их три — они как Мойры, да? Или как Грации? Почему они не женские?

— Три и три, — нянька начинала немного сердиться, но вполне добродушно, — ты смотри лучше, подол не запачкай, тут лужа...

— А то Госпожи любить не будут! — девчонка смеется, — а папа знает про этих божеств? Или он только про мужских?

— Папа твой всё-всё знает, — нянька и рада, что есть, на кого переложить обязанность отвечать, — а я тебе по секрету так скажу. Женские божества — они самые сильные. Это мне и бабка говорила. Знаешь, почему?

— Почему? — девочке нравится такой поворот.

— Мы рожаем мужей. Они рожают богов. Всё — от женского лона. Все судьбы, все надежды, все силы, все грации и всё, что только ни есть на свете — всё порождено ими. Это знают и мужчины и молятся нашим богиням. Но не всякая им это позволяет...

— Вырасту — меня посвятят в таинства Благой Богини, да?

— Да, твои мать и тетка. Обязательно.

— А к Великой Матери ты меня сама приведешь. Решено!

Юная болтушка со своей нянюшкой скрываются в дверях дома, последнего из богатых на этой улице, — а Феликс стоит на мостовой, улыбается смешной и непонятливой девчонке... Ничего, вырастет — разберется сама.

«Ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем»⁴⁰, — бормочет он про себя бессмертные слова Павла, словно впервые осознавая их смысл. И дай тебе Бог познать эту любовь, смешная девчонка!

В доме сапожника Зеновия ничего не изменилось за прошедшие сутки. На тех же местах стояла чуть кривобокая, но прочная, потемневшая мебель, так же пахло свежей кожей, а сегодня — еще и чечевичной похлебкой, которую во дворе на низенькой печке варила Паулина.

— Ты вовремя, — улыбнулась она в знак приветствия, — еще немного, и смогу тебя угостить.

— Я не голоден, спасибо, — Феликс теперь немного стыдился своего пусть и не роскошного, но достаточно обильного завтрака с маслинами, козым сыром и сухими фруктами на сладкое, — я за...

— Знаю-знаю, — поспешно сказала она и скрылась в своей комнате за тяжелой дерюжной завесью. В этом доме люди не нуждались в том, чтобы отказываться от роскоши — она сюда просто не забредала. Но всё потребное для повседневности прочно стояло на своих местах.

Вернулась она сразу, с сосудом в руках, протянула его и сама заговорила.

— Помню твой вчерашний вопрос, Феликс. Помню — но не знаю ответа. Сказала бы я: спроси тех, у кого это вышло, кто в браке с язычником — да вот хоть Мирину спроси. Но не уверена, что она расскажет тебе всё, как есть. Что она даже сама себе это расскажет... Люди любят истории успеха. А у меня нет такой истории. Я не позволила себе любить язычника.

Их руки соприкоснулись на мгновение, когда она передавала ему сосуд — и он ощутил чуть уловимую дрожь. То ли старость брала свое,

⁴⁰ Рим. 8, 38—39.

то ли юношеское волнение прорывалось сквозь все эти годы. Но — только на мгновение.

— И никогда, поверь, никогда в жизни я не жалела ни о чем так сильно, как об этом. Что не позволила. Я когда-нибудь расскажу тебе эту историю. Но я не знаю: а если бы я пошла за своим сердцем, если бы и его сердце стало биться в лад с моим, если бы мы прожили долгую жизнь вместе, — кто знает, не пожалела ли бы я и об этом? И что сказали бы мне Там, куда мы приходим со своими жалостями и хотелками? Я не знаю. Шаг в пустоту.

— Жалеть лучше о том, что сделал, нежели о том, от чего отказался, — медленно, с расстановкой ответил он, — я услышал твой ответ, благодарю. Мне нужно отнести сосуд в дом Константа — но если позволишь, я зайду еще, завтра или послезавтра.

— Заходи, конечно, запросто, — светло отозвалась она, словно подружка-ровесница, — я ведь редко выхожу из дома, разве что на рынок или по другому какому делу, без людей скучновато. Приходи, поболтаем! Только не спрашивай, как надо, — я не знаю.

— Обязательно зайду!

Сосуд обжигал ему руки. В этом доме ему доверяли — и на этот дом он, не желая того, мог навести беду. И оставался только один человек, который мог дать ему подсказку. Уж кто-то, а он-то должен знать!

Епископ Констант был занят в стеклодувной мастерской, примыкавшей к его просторному дому. Да, трудился, словно простой ремесленник, — он никогда не позволял себе отказываться от ручного труда, по примеру апостола Павла, хоть и был, в отличие от него, далеко не беден.

Дом, как и ремесло, он унаследовал от отца. Да и как же иначе? Чему-чему, а мастерству стекольщика и, главное, торговца хрупким товаром отец обучил его отлично. обстоятельно рассказывал о свойствах песка и печного жара, о том, как упаковывать товар в солому, как распознавать ненадежного покупателя, как разведать новый торговый маршрут и как узнать о новинках друзей-конкурентов, не привлекая излишнего внимания.

Мальчишке хотелось говорить о том, что море для купания куда лучше реки, о брызгах солнца на майской листве, о странствиях Одиссея, о лихой игре в мяч на лугу, чтобы трава пятки щекотала, и может быть, даже о звонкой и тонкой девчонке из соседского дома. Ему хотелось — папы. Сколько бы он отдал за простую болтовню ни о чем, за объятие перед сном, за нежный и чуточку материнский взгляд — мамы не было с ними с тех пор, как ему исполнилось три. Но было всегда только стекло, были торговцы, расчеты, умения.

Он навсегда запомнил сцену прощания: заостренные черты воскового лица, зажатого внутренней болью, хриплое дыхание, последние наставления о том, что нынче в Виминации⁴¹ спрос особенно хорош на бирюзовый и лазоревый цвет. Даже сейчас он пытался поделиться главным. Главным для него, но не нужным, излишним, невечным. Завтра изменится спрос, — хотелось крикнуть ему, — папа, а ты со мной так и не поговорил!

Он упал на колени. Положил сухую ладонь себе на макушку — как жест благословения... или просто ласки. Старик словно очнулся:

— Я слышал, ты... связался с этими...

— С кем, папа?

— Новая эта их... учение какое-то...

— Да, папа.

Он так и не решался сказать о главном: прими Христа, иго его благо, бремя его легко!

— Тогда...

Он готовился к проклятиям — и готов был их встретить.

— ...стань тогда первым среди них. В нашем роду вторых не бывало...

Он ничего тогда не отвечал, просто прижал ладонь к щеке, ладонь человека, который так и не смог, так и не захотел...

Отец отошел в беспамятстве через два дня, а через восемь — Константин принял крещение и окончательно стал христианином. А через четыре года распорядительный и предусмотрительный Константин уже был епископом великого града Аквилеи. Первым среди братьев и сестер.

⁴¹ Виминаций — римский город на территории совр. Сербии.

И вот теперь — статный человек средних лет, с легкой полнотой, которая придает солидности, но не выглядит нездоровой, с каштановыми кудрями и изящной бородой античного философа — так похож на отца, вот бы он гордился! — стоял у горящего горна и выдувал новый сосуд. Он смотрелся немного комично с надутыми щеками, с торчащей изо рта трубочкой, на которой висела капля расплавленного стекла, — и от его дыхания она постепенно раздувалась, а он вращал трубочку нежно, как младенца, чтобы тяжесть капли не нарушила ее симметрии.

— Мир тебе, Констант!

Он и бровью не повел. Ремесло не терпит суеты.

Рыжий подросток (видна была кельтская кровь), — чуть помладше самого Феликса, из тех, кто помогал Константу и на молитве, и во время труда, — тщательно вытягивал железным инструментом из огня тонкую полоску такого же стекла, гордясь и радуясь доверенному труду. И вот уже сосуд, стынущий на зимнем воздухе Аквилей, замер всего на миг между текучестью и хрупкостью, как раз вовремя, чтобы приземлить его на диск-подставку, затем тремя-четырьмя выверенными движениями взять у подмастерья полоску, чуть ее приплющить, прилепить к сосуду, создав ему ручку. И только когда сосуд замер, — уже обретший форму, но еще не остывший, переливающийся голубыми и зелеными красками летнего аквилейского моря, такой, что и глаз не отвести — епископ-стеклодув поднял глаза на гостя:

— Мир тебе, Феликс!

Как прекрасен был этот миг сотворения! Из песка и соды возникает текущий сплав, дыхание человека придает ему форму, и на грани природы и искусства рождается хрупкая красота, способная содержать в себе и святыню, и яд. Не так ли и Господь сотворил человека?

— Какая красота!

Феликс не мог сдержать восхищения, а Констант — гордости.

— Говорят, первыми это искусство открыли египтяне, мы лишь их ученики. С десяти лет стою я у горна... Но не всегда и по сию пору удается сделать всё без помарок с первого раза. Видно, ты добрый вестник, если твой приход помог в труде!

Феликс немного поморщился — не было ли тут языческого суеверия? Но тут же и одернул сам себя: как можно такое думать о епископе!

— Я принес сосуд. Тот, в котором относил дары Паулине.

Но в какое сравнение, если честно, шел тот простой глиняный горшочек с этим произведением епископского искусства! Разве только тем, что в нем была Кровь Господня. Но, разумеется, стекло более приличествовало бы ей.

— А вот добрый ли я вестник...

Епископ оторвался от сосуда и внимательно взглянул на Феликса. Он не спрашивал, он утверждал:

— А вот вестник ты, похоже, недобрый. Пойдем лучше в дом.

И повернулся к подмастерью (Феликс надеялся, что услышит его имя — спрашивать было неловко).

— Я скоро вернусь, закончим с тем, что осталось. Горн не гаси, но и не раздувай, не трать угля. Там еще на три сосуда нам хватит... или на два? И на сегодня всё.

Внутри дома всё выглядело иначе, чем в мастерской — обстановка была не то чтобы роскошной, но с немалым достоинством и достатком. Константин провел его в одну из внутренних комнат за дубовой дверью, — там он обычно беседовал с важными гостями, — и Феликс подивился его прозорливости: прежде, чем он сказал пару слов, тот уже понял, что разговор будет серьезным. Епископ опустил в массивное кресло из того же дуба, что и двери, с резными ручками, занял привычную позу внимательного слушателя, — а Феликсу указал на сиденье напротив, попроще, без украшений. Даже мебель указывала здесь на иерархию...

— Что за весть у тебя?

— Прости, господин мой Константин, что не смогу сказать всего... Я дал обещание.

— И по частям можно восстановить целое. Итак?

— Скажи, доводилось ли тебе переживать... гонения?

— Что ты называешь гонениями? Мы, благодарение Богу, живем в мире и благополучии. Ну, соседи косо смотрят на нас, вслед могут выкрикнуть оскорбления... Не всегда было так. При Нероне...

— Здесь, в Аквилее? — Феликс перебил епископа, чего не позволял себе прежде никогда, — здесь ведь тоже были свидетели⁴² веры? Я слышал имена...

— Да, лет восемь или девять назад. Некоторым пришлось отдать жизнь за право верить во Христа. Я, собственно, сразу после этого и...

— Может ли это вернуться, как ты полагаешь?

— Всё может быть, вернее, всё в руках Божьих, — на лице Константа отразилось нетерпение и легкая досада. Феликс расспрашивал его о прошлом, но наверняка знал нечто о будущем — и медлил знанием делиться.

— Мне... до меня дошли слухи...

— Новый консулар, так?

— Откуда же ты...

— У таких вестей длинные ноги, а у епископов чуткие уши, мой юный друг. Уж не думаешь ли ты, что я, ежедневно занимаясь делами церкви Аквилейской, думаю только о том, как бы половчее выдуть сосуд из стекла цвета морской волны, и обсуждаю разве что достоинства песка с разных участков побережья? Мы сбережем драгоценное время и силы, если ты расскажешь мне то, что знаешь.

— Не могу...

— Что ж, пойдем чуть более длинной дорогой. Расскажу тебе я. Некто, кого мы не будем называть, сообщил тебе, что к нам едет консулар. И что ему может взбрести в голову устроить тут маленькое такое расследование: нет ли среди аквилейцев христиан. Так?

— Да, но...

— Отвечаю на незаданный вопрос: если это была и новость, то разве что для тебя. И тебе в связи с этим поступило некоторое предложение, которое ты колеблешься принять.

— Откуда...

— По твоему лицу. В горне скоро закончится уголь, а во мне — благожелательное терпение. Феликс, друг мой Феликс, если можешь спасти, а не губить — спасай людей, а наипаче единоверцев. Играть в

⁴² Греческое слово *μάρτυς*, означающее *свидетель*, на русский язык в христианских текстах обычно переводится как «мученик», но в самом этом слове ничто не указывает на мучения, а только на открытое свидетельство о Христе.

прятки, «не выдавать» того, кто доверил тебе их жизни — не самое достойное дело, не так ли?

— Так...

Феликс чувствовал себя опустошенным, как тот самый сосуд, — если позволительно, конечно, сравнивать священный сосуд с грешным человеком! Епископ вытаскивал из него сведения прежде и помимо слов, будто бочку опорожнял, наклоняясь и черпая с самого дна.

— А чтобы спасти, следует, прежде всего, знать об опасности. Нужно не бояться идти ей навстречу, упреждать ее, глядя ей прямо в лицо. От тебя хотят наверняка, чтобы ты был осведомителем в моем доме, да и не от тебя первого — прекрасно. Расскажи им, какой сегодня вышел у нас сосуд... А сам присматривайся, прислушивайся к ним. Будем просты, как голуби, и хитры, как змеи. Что услышишь там, — расскажешь мне. Годится?

Все оказалось величественным и простым. Епископ был мудр и проницателен, Феликсу не пришлось ни врать, ни нарушать обещания — и можно было просто и ясно согласиться на службу разведчика. Враги думают, что он будет служить им, — а на самом деле он лазутчик в стане врагов. Они с епископом — словно твердь посреди, они разделяют нечестие и святость, неведение и премудрость, смерть и жизнь, в конце-то концов!

— Да, господин мой Константин!

И только одно оставалось забытым. Точнее, одна.

— И вот... есть опасность для одного человека...

— Разве лишь для одного?

— Для всех нас, да. И ты знаешь, что я не колебался бы ни мгновения, если бы задали вопрос мне: «ты христианин?»

— Как и каждый из нас. Как и я сам. Но негоже полководцу выбегать с мечом впереди своих центурий, так он только проиграет сражение.

— Они выберут простую беззащитную душу. Кто, кроме нас, сможет ее уберечь?

— Господь Всемогущий сумеет, если пожелает. Но кого имеешь ты в виду?

— Ту, которой относил Дары...

— Понимаю. Она, кстати, здорова?

— Кажется, да, — Феликс смутился снова, — хотя, впрочем, не совсем. Но и не больна тяжело.

— Возраст, конечно, не придает нам сил. Так у тебя всё?

Епископ приподнялся в кресле, давая понять, что уголь и терпение — у последнего предела.

— Мы сможем... ты сможешь ей помочь?

— Я подумаю.

И, раскрывая дверь комнаты, уже на пороге, он обернулся к Феликсу и добавил:

— Да, и вот еще. Завтра мы собираемся в Старые термы, около полудня. Будет наверняка интересный разговор... из которого кое-что можно будет понять. Раз уж ты оказался вовлечен в эту историю, отчего бы тебе не сходить с нами?

— Разве христианам в термах бывать дозвоительно? — Феликс замешкался, это был для него больной вопрос. Можно ли участвовать в том, что бывает сопряжено и с развратом, и с языческими культами, не говоря уж о простом телесном наслаждении сверх меры?

— Христианам не подобает ходить грязными, друг мой. А еще не подобает уклоняться от опасности. Приходи как мой гость. И ни слова о сегодняшнем нашем разговоре. Ни слова!

— Да, господин мой Константин.

Как просто завершался этот день, начавшийся мучительной загадкой. Он был среди своих, он защищал своих, он был послушен своему епископу и дружелюбен по отношению к Паулине. И можно было не вспоминать о той, которая была желанна и недоступна, — воин в походе не думает про свою влюбленность.

И так оказалось просто сказать этим вечером горбоносому финикийцу: «я согласен», — в полном осознании своей высшей неколебимой правоты.

Парабаса. Как надо?

— Как надо? Ну скажи же мне, как надо?

У Паулины на руках спящая девочка — ей теперь полгода, не больше. Наяву мы движемся от рождения к смерти, от небытия к неизвестности, но в этих снах девочка шла против потока — и становилось страшно за нее. Она стремится в первое, несомненное небытие — в те неисчислимые эпохи и времена, когда ее еще не было. Паулина обещала сберечь ее, но как можно сберечь в горсти песок, убегающий сквозь пальцы?

— Как надо, ну как?

Она смертельно устала в этом навязанном сне и злится — то ли на Старца, что он молчит, то ли на девочку, что она исчезает и тоже молчит. Или даже на саму себя, потому что не смогла, не сообразила, не удержала — в очередной раз. И стоит перед Старцем, выкрикивая свои обвинения, — ему. А на самом деле не обвинения — вопль о помощи.

Как хотела бы она сегодня другого сна! Тот золотой песчаный берег у совсем другого моря, ласкового и куда более теплого даже в эту зимнюю пору. Они с девочками бегали купаться в небольшую бухточку за пригорком, это было такое специальное девчачье место. Мальчишки, конечно, норовили подсмотреть из-за пригорка, да так, чтобы взрослые не поймали — да пусть подглядывают, что они там издалека разглядят! Вбежать нереидой, нимфой морской, в эту прозрачную бирюзу, оттолкнуться, поплыть по воде как по небу — и перевернуться, чтобы смотреть за полетом облаков и уже не разбирать: то ли ты плывешь, то ли летишь... Или вот еще: часто-часто надышаться, насытить тело силой воздуха, а потом затаить дыхание и — кто дольше утерпит под водой! Ей не было равных среди подруг. Нереида⁴³ — такое прозвище не каждой дадут!

А потом с мокрыми волосами ворваться в лавку отца, он прижмет ее к себе, она подарит ему эту свежесть и соль, запах ее волос, смешанный с ароматами моря. Никто не любил ее так, как мама и как

⁴³ *Нереида* — одна из дочерей Нерее, морских нимф в др.-греч. мифологии.

отец. Кроме... кроме Бога. И кроме еще одного человека, который никогда не приходил в ее сны. Она давно ему это запретила.

Если бы просто — тот берег, то море, тот полёт, хотя бы на несколько мгновений... Проще было бы потом погружаться в серые сумерки аквилейской зимы, проще проживать свою немощь и старость. Разве трудно подарить ей сегодня этот сон?

Но она снова была у Горы. Нет, не на прежнем месте, не там, где прошлой ночью. Позади — многие десятки, может быть, сотня ступеней или просто гладких камней, по которым прошли те, кто знал, наверное, как надо. Она не знает и злится.

И эти прошедшие и теперь бесплотные люди — словно хор в театре, обращаются теперь к ней, но она не видит и не слышит их. Хор поет прекрасную поучительную песнь, он всё объяснит, расставит по местам, укажет ей волю автора трагикомедии, именуемой жизнью. Но только если она сумеет его расслышать. Но перед ней — молчащий упрямый старик.

Он сидит на камне под невысокой аркой, творением рук человеческих, словно здесь начали строить дворец, но передумали, едва наметив вход. А впрочем, дворец на месте. Это сама Гора со всей ее каменной тяжестью и небесной простотой, это камни, ветер и песок, и еще души тех, кто прошел здесь до нее. Это образ Церкви, вдруг понимает она. И у входа сидит Старец, чтобы выслушать, обличить, наставить. Он привратник, мимо него не пройти.

Его капюшон все так же слегка приподнят, чтобы удобней было слушать. Но сколько можно требовать слов и поступков от нее? Она не знает: она — слаба и растеряна, она — потеряла всё главное и не знает, ни как без этого жить, ни как это вернуть. И вот теперь на руках — эта вечно спящая, едва дышащая девочка-младенец, бледная и безмолвная, как и этот строгий старик. Она бы покормила ребенка, если бы было чем, но груди давно иссохли. Она бы спела ей песню, но голос рождает только хриплый крик: «как надо, скажи!» А главное, девочке не нужна ни пища, ни песня. Она погрузилась в дремоту, уходит в начальное небытие, говорит этому миру: здесь всем будет лучше, проще без меня.

— Как надо?

Ей кажется, что сейчас, если только она пробьет своим криком его немоту и получит ответ хоть на одно маленькое «как», Старец вытащит все остальные нужные ей ответы, размотает клубок в длинную нить. И от крика — разбивается хрустальная высота восточного неба, пепельная серость камней, душный воздух горы сгущается, становится прохладным и сочным.

Вокруг — совсем другие горы, высокие, зеленые, добрые. Там она жила долгие и радостные годы — прежде Аквилеи. В самый жаркий день лета можешь ты там подняться по руслу к живому роднику, который ошпарит стылой водой, словно там, под горой, медленно тает огромная глыба льда. А может, так оно и есть? Только надо не забыть взять большую палку и постукивать по камням перед собой, разгребать траву — вежливо напоминать змеям, чтобы дали тебе дорогу. Если же встретишь озабоченного желудями кабана или самого хозяина леса — медведя — тут уже дорогу уступай ты, и поскорее... Правда, страшнее медведей оказались люди, но не надо, не надо об этом. Даже во сне — не надо.

И медведи ей ни разу не встречались — земля, которую она привыкла звать своей, была к ней добра. И небо — оно здесь ближе и проще, было привычней, чем в чинной торговой Аквилее. И вот этот мир зелени и сини она собирается покинуть ради чего угодно, только другого, — ради серой аквилейской хмари, которую никогда не видела прежде — и которую будет видеть до конца своих дней. И хорошо бы, думает она, этот конец пришел поскорее.

Рядом — родные лица, соседи, братья и сестры по вере. Эта община юна и прекрасна, как горные луга под облаками, около двадцати лет назад переселилась она в эту долину с побережья, чтобы отделиться от нечестия, чтобы жизнь их текла размеренно, по вере. Но теперь Паулина собирается в большой и чужой город, в котором никогда не была, в обитель суеты, в гнездо язычества. И с ней — двое мужчин.

Их провожает всё селение, это ясный день в начале осени, снег еще не лег на самые высокие вершины, дороги еще долго останутся проезжими. Вряд ли они сумеют вернуться до весны, эти мужчины. Она сюда не возвратится, хотя пока сама об этом не знает наверняка. Но догадывается. Не найдет она в себе сил смотреть на могучие горы,

слушать привычный шелест речушки — они были свидетелями тому, что случилось. Не сможет ступать по траве, которая помнит дорогие шаги, и знать, что по этой траве никогда не пробежаться ее внукам. Возврата в прошлое нет, а что до дорогих могил — за ними присмотрят. Для встречи в вечности нет нужды привязываться к костям.

Но всё это она объяснит себе потом, а сейчас стоит на дороге у края селения вместе с двумя своими спутниками, обнимаясь на прощание с каждым и с каждой, кто остается.

— Зачем, — ворчит Ксанф-нелюдим, приземистый и пузатый, как сатир, обращаясь к статному красавцу Бардилию, — зачем такая дальняя дорога, зачем нам этот аквилейский епископ? Мы выбрали тебя в наши пресвитеры — вот и будь им.

— Не водится так у христиан — мягко возражает рассудительный Теодул, другой ее спутник, — это бесчиние какое-то выйдет. Христианских пресвитеров рукополагают епископы, так повелось от апостолов. Мы всё сделаем, как надо.

— Что он тебе, этот епископ — даст сил мертвых воскрешать?

Людской гул смолкает. О мертвых — это слишком свежо. Это больно. Не надо бы так...

— Я расскажу ему о наших... свидетелях, — отвечает Теодул, чуть помедлив, — чтобы вся Церковь знала о них, чтела их вместе с нами. Церковь — единый Божий народ, мы только гости и странники на земле, в нашем ли селении, в большом ли городе. И чтобы никто не потерялся, не придумал своей собственной вести, не сбился с пути — старшие возлагают руки на младших и призывают на них Духа. Так надо. Так должно быть.

— Если расскажешь о наших, тогда ладно, — соглашается нехотя Ксанф, — пусть знают, что и мы...

И выступает хор голосов, мужских, женских, подростковых, взволнованных:

— Спроси его, как правильно их почитать. Мы же не знали до сих пор...

— И вообще, мы почти ничего не знаем. Можно ли нам торговать с римлянами, нет ли в том греха? Может, лучше жить тем, что сами вырастим, выловим или соткем?

— Ну, торговать — что тут дурного, это ты хватил... а вот в городе мы когда были, пошли в термы. Не то, что в нашей речке на запруде купаться, совсем не то! Спроси, можно ли?

— Забыл, что еще и в театр ходил? Языческое действо!

— Ну, я ж не знал... да и что такого, ну, посмотрел на них, ни в чем таком не участвовал...

— А вот Воскресение Господне, говорят, некоторые не на всякий день Солнца вспоминают, а лишь когда у иудеев этот их праздник про Египет... а нам как?

— Да ну, на каждый надо!

— Может, раз в год все-таки по-особому? И кстати, когда оно, у иудеев, это вот их... на П называется?

— Мы тут при чем! Иудеи! Скажи еще — когда язычники Митру чтут или Осириса!

— Так Господь и сам по плоти от иудеев...

Голоса всё возбужденнее, их всё больше, им нужны ясные простые ответы на все вопросы жизни. А у некоторых — есть уже ответ. Им нужен большой, властный человек, который подтвердит, что именно их ответ — правильный. И такой человек есть в Аквилее. Называется епископ.

— Как надо? Пусть скажет, как надо!

Но это уже кричит ее собственный рот — и простые домашние горы сменились этой чужой, неизвестной, священной Горой, серой от пыли и жаркой от солнца. Жестокая это Гора. Арка скрывает проход туда, наверх, где будут даны ответы — но как войти в нее, как пройти мимо молчащего Старца? И Паулина трясет девчонку, крошечного младенца, словно вытрясти из нее хочет душу — или правильный ответ:

— Пусть скажет, как надо!

Старец чуть трогает ее за руку, чтобы остановить — слабое прикосновение сразу лишает ее сил, руки делаются ватными, воздух кисельным. А девочка так и не вернулась к яви, она озирает мутными глазами ее, Гору, Старца, безразличная ко всему.

Голос Старца тихий, усталый, строгий:

— Надо — кому?

Она просыпается. Вновь лежит задолго до рассвета в привычной комнате, где нет ни Горы, ни неба, а остался только вопрос. Ее вопрос — и ответ Старца, повернутый иной стороной. И она знает, что есть только один правильный ответ: «это надо мне», — но кажется, не в силах его произнести даже в низкий и неразличимый потолок, произнести для самой себя, для своего вновь пустившегося в бешеную скачку сердца. Зачем же врать, что это ей надо?

Ничего. Она полежит, сердце уймется, займется заря и будет новый день, в котором все «надо» будут расставлены по местам: рынок, готовка, уборка, еда. Ах да, и молитва.

Она не встает с постели, чтобы поговорить с Господом, — а всегда ведь вставала. Она вообще не молится — она просто прижимается щекой к невидимой теплой Ладони и говорит ей просто и нежно, как отвыкла говорить любимым, потому что все ее любимые мертвы:

— Господи... да ведь надо-то мне — Тебя.

День третий. Зелень земная.

Старые термы не были самыми роскошными в городе — потому они и звались старыми, да и были на самом деле таковы: тесноватые, с выщербленными мраморными скамьями, а расписная штукатурка местами обвалилась. Но уж больно банщик был хорош: топили у него в меру, чтобы из холодного бассейна в горячий нырять в самый раз и чтобы в раздевалке не мерзнуть даже зимой. Да и спину он мог размять, как никто. Но самое, пожалуй, ценное: хотя термы открыты для любого свободного, — на то они и термы, — но можно было договориться, чтобы он, скажем так, отсоветовал досужим посетителям заходить сюда именно в тот день и час, когда отдыхает в них маленькая и дружная компания. Не за бесплатно, разумеется, и даже не за обычную цену, а за тройную.

Можно было, конечно, позвать и каких-нибудь флейтисток, но решено было ограничиться тесной и поначалу даже трезвой мужской компанией — все-таки флейтистки вступили бы в непримиримое противоречие с убеждениями некоторых весьма уважаемых участников.

Феликс впервые попал в этот круг, который с давних времен встречался раз в месяц в этих самых термах ради чистоты, здоровья, удовольствия и, едва ли не самое главное, приятной беседы, на которую у завсегдатаев было принято приглашать интересных гостей. Все же правильная замена флейтисткам, — думал Феликс, которому особенно было лестно, что сидит он на мраморной скамье, разомлевший и довольный, по приглашению епископа Константа.

Впрочем, и остальные участники беседы были ему знакомы хотя бы отчасти, кроме разве одного — кудрявого иудея, которого остальные называли Мнесилохом (ведь беседа шла на греческом), и только Константин шепнул Феликсу на ухо, что природное его имя — Иосиф. Но упрекать других в перемене данного родителями имени не подобает тому, кто и сам поступил подобным образом. Иудей торговал «слезами сосен» — так называл он мягкие податливые камешки, привозимые с

далекого севера, из земли венедов⁴⁴, и самое удивительное было в них то, что внутри попадались насекомые. Каким именно образом насекомое могло проникнуть в камень и причем тут сосны, никто толком не знал, но ценились изделия из таких камешков довольно высоко.

А вот приведенный Мнесилохом-Иосифом гость заставил Феликса вздрогнуть — это был тот самый финикиец Маний, он же Иттобаал, с которым он имел не самую приятную беседу как раз накануне. Но оба не подали вида, что знакомы, сдержанно приветствовали друг друга и назвали свои имена. Интересно, — подумал Феликс, — сколько в этой бане бывает таких маленьких театральных постановок, как сейчас...

Третий участник почтенного собрания как раз отлично разбирался в театральных зрелищах — это был Аристарх, а позвал он с собой никого иного, как Мутиллия-Филолога (сколько же двойных имен!), с которым Феликс, собственно, с утра еще и не расставался.

— Поскольку мы собрались не только ради телесных удовольствий, но и ради возвышающей душу беседы, предлагаю избрать тему, — торжественно произнес Констант, когда были внесены вино и легкие закуски и все — чистые, крепко размятые руками банщика, натертые благовонным маслом и пока еще совсем трезвые — наконец расселись по скамьям.

— По традиции, — отвечал ему Аристарх, — тему избирают наши гости, какую пожелают. И отчего бы не предложить совершить выбор приведенному тобой юноше, в чьем взоре светятся любовь к мудрости и одновременно скромность?

— Прекрасная мысль! — согласился Мнесилох.

От привычной расслабленности — после хорошей бани с массажем — у Феликса не осталось и следа. Он сидел на мраморной прохладной скамье, прикрытый лишь большим тканым полотнищем, среди таких разных людей, на которых ему было важно произвести впечатление...

— Я, — кашлянув, произнес он неуверенно, — могу предложить разве что... поговорить о любви земной и небесной.

⁴⁴ Венеды — известные античным авторам племена, которые жили на севере Восточной Европы. Вероятно, предки славян.

Мутилий не то вздохнул, не то чуть кашлянул, не то подавился первым звуком, но не решился говорить в присутствии старших.

— Я знаю, — спешно продолжил Феликс, — что хочет сказать мой друг. Что всё уже написано и сказано, что к словам Платона, к его «Пиру» и добавить-то нечего, куда нам тягаться с великими. Но я и не думаю тягаться. Я...

И отчего-то стало так просто сказать о самом-самом заболевшем.

— ...я смиренно хочу услышать, что расскажете мне вы, люди, умудренные опытом и прожившие долго.

Он почти что сказал «прошу вашего совета», но все-таки удержался: это было бы враньем. Что скажет Константин в ответ на прямой вопрос: «можно ли мне любить язычницу, да к тому же еще и распутницу», — он знал заранее. Достаточно было проповедей про христианское отношение к браку как благочестивому союзу двух истинно верующих людей, о который разбиваются волны бурлящего моря разврата.

Но все-таки, все-таки... может быть, прозвучит в разговоре что-то такое, к чему можно будет вернуться — тонкий намек, цитата из Еврипида, — заденет тонкую струнку в душе Константа, заставит его увидеть не просто набор правил, а живого, страстного юношу и самую прекрасную женщину перед ним... не сегодня, так когда-нибудь потом.

А на самом деле, как и всякий влюбленный, не мог он говорить ни о чем, кроме своей любви.

— Разумно, — согласился Константин, — о любви земной и небесной.

— Поддерживаем, — в тон ему отозвались двое других.

И Аристарх добавил:

— Как бы то ни было, друг мой Мутилий, а просьбу надо уважить. В конце концов, или на Платоне закончилась любовь, закончились поиски и страдания юных, ищущих своего пути? Давай дадим высказаться твоему давнему и нашему новому другу. И может быть, мы, люди зрелого возраста, напротив, подивимся его молодому задору, вдохнем этот аромат весенних цветов, который поэты зовут «любовью». Тебе и начинать, Феликс.

— Мне? — он удивленно оглядел собравшихся, — но я...

— Не волнуйся, — успокоил его Константин, — у нас не принято перебивать говорящих или, тем паче, насмехаться над ними, но когда закончишь речь, мы будем вправе ответить на сказанное тобой. Начинай.

— Хорошо.

В горле пересохло. Феликс взял чашу с вином, сделал несколько больших глотков — не как принято в дружеской беседе, а как пьют после тяжелого дня или, скорее, перед трудным боем, чтобы снять усталость и оглушить страх. Пока вино с ароматными травами, разбавленное подогретой водой, текло по жилам и расслабляло тело, следовало и в самом деле начать, — а там покатится как-нибудь само.

— Прошу вас, друзья, в особенности старшие, простить мою растерянность и неготовность, я никак не ожидал выступать перед вами сегодня, тем более — первым. А что касается предмета, скажу лишь, что нашел свою небесную любовь, но не нашел пока земной. И об этом хотел бы вам рассказать, не потому, что жизнь моя примечательна, но в надежде услышать наставление.

Людям свойственно любить родителей, прежде чем они научатся другим видам любви. Отец мой умер, когда я был совсем малышом, но всё в доме напоминало о его славной жизни, посвященной одному — служению Риму. И я, входя в возраст, привыкал гордиться им как образцом... но любил ли я его? Думаю, нет, и не потому, что нашел в нем постыдное или не свойственное людям благородным, а скорее по незнанию. Отец представлял передо мной кем-то вроде Ромула или Геракла, героем древних преданий, пусть даже порог дома хранил память его шагов.

А мать... Она не была мне близка с тех пор, как вышел я из младенчества. Не знаю, что тому причиной: моя ли глупость или детские шалости, а может, ей было просто не до меня. Казалось мне, я был нужен ей только для того, чтобы украшать себя, как жемчугами, моими успехами и достижениями: «видите, каков мой сын!» (а их ой как не хватало). А я так тосковал о ней!

Любовь к Родине тоже свойственна каждому. Не колеблясь ни на мгновение, скажу, что люблю Рим и готов отдать за него жизнь. Всё казалось таким простым сначала: поступить в легион, отправиться на

границу и медленно, упорно ее сдвигать, забирая земли у варваров... И тут я представил себе, как в глухом германском лесу или в мавританской пустыне я втыкаю свой меч в тело человека, вышедшего на защиту собственного дома и ничем не грозящего моему, — и не стал вступать в легионеры. Может быть, вы скажете, что варвары совсем не то, что мы, римляне и эллины, или что я сопливый и чувственный слабак, но так уж оно вышло.

Что такое моя любовь к Риму, как не тонкий ручеек среди тысяч других, что бегут вдоль наших селений к Тибру и Тирренскому морю... но не впустую ли льется вода, которая могла бы орошать наши поля, вращать жернова наших мельниц? Я не нашел пока, как послужить любимому Отечеству. Мог бы я поступить на гражданскую службу, так и это теперь не выйдет, ведь я не могу принести жертву государственным богам. Всё дело в небесной моей любви, я обрел ее совсем недавно.

Помню, как подростком, лежа на своей постели и не умея заснуть, я представил себе, как однажды я умру. Эта мысль поразила меня, как молния — одинокое дерево среди поля: останется всё в этом мире, каким оно было прежде, но не станет в нем меня, моих мыслей, чувств, воспоминаний. Я и прежде знал, что люди умирают, я видел мертвых, но только теперь, на пороге взрослости, я принял это знание как весть о себе самом. Я однажды умру. И что будет дальше, никто не может сказать: одни говорят, что там полное небытие, какое бывает до нашего рождения, другие описывают спящие тени в унылом Аиде, а служители таинств Митры или Исиды намекают на что-то таинственное и потому не слишком убедительное. Но в одном, главном, не было сомнений: однажды всё оборвется. Тогда зачем вставать, умываться, есть завтрак, отправляться в школу и учить там Гомера и Вергилия?

В тот раз я промучился бессонницей, и на следующий день рассеянно и не в лад отвечал в школе, получил от учителя три замечания и, наконец, заслуженную порку. И, елозя под его ремнем, думал только об одном: а ведь смерть положит конец всему: и боли, и радости, и страданию. И я был бы готов длить это страдание вечно, если бы только длилась с ним и моя жизнь, неповторимая, единственная.

Я заболел тогда, не столько от простуды (а время было зимним, как сейчас), сколько от переживаний. Лежал в горячке, мама снизошла до

того, чтобы сидеть со мной рядом, клала мокрое полотенце на горячий лоб, а я метался от беспомощности, от конечности своего бытия... и в бреду я слышал голос, шедший откуда-то: даже не сверху, а словно бы изнутри меня, из того светящегося облака, которое окутало мое тело: «подожди». Я спросил, сколько ждать, и голос ответил: «три года». И я уснул. Болезнь отступила. Потом даже учитель сочувствовал мне, сказал, что жалеет о наказании, он ведь не знал, что я болеваю. А я был благодарен всему миру, и ему тоже: мне откроется самое важное и нужное, нужно только подождать.

Прошло три года, я всё это почти позабыл. Старшая сестра вышла замуж, мы переехали в Италию, в родовое поместье моей матери, где уже почти ничего не напоминало о славе отца и всё вокруг твердило лишь о её красоте, и я, казалось, и думать забыл о тех словах... но тут, в Италии, среди наших рабов уже завелось какое-то новое учение, они отпрашивались у матери на свои сходки, она насторожилась и велела им всё объяснить ясно. Так я впервые услышал о Нем — об Иисусе, который был распят и взял на себя грехи мира, а тем, кто пойдет за Ним, обещал вечность с Богом.

Нет, не стоит так ухмыляться, Мутилий, — Феликс обвел взглядом всю свою аудиторию, — я знаю, что ты хочешь мне ответить и не буду с тобой спорить об этом. Я могу только рассказать о собственном выборе. Всё — совершенно всё, что только беспокоило меня, что не давало заснуть — обрело отныне свой смысл и ответ. Я понял, что смерть — не завершение бытия, не погружение в серую безразличность, а итог земного пути, как бы выход из школы во взрослую, настоящую жизнь.

Я не сразу принял крещение: прошел еще год сомнений, разговоров и подготовки, и я не хочу утомлять вас подробностями. Главное вот что: я обрел свою небесную любовь.

Но еще не нашел земной. Мне... мне знакомо телесное чувство, именуемое Эротом, я изливал семя в утробу, но отринул всё это, приняв веру, — да, по правде сказать, всё это было детским торопливым опытом, и сладость в нем мешалась со страхом и стыдом. Некий мудрый человек однажды сказал, что греховное удовольствие тем отличается от безгрешного, что воспоминания о нем не согревают, а ранят душу, — как же он прав! Впрочем, всё это я отринул, как уже сказал, и принес

покаяние, надеясь, что по милости свыше мне будет указан мой путь, моя земная любовь.

Но по каким признакам я распознаю ее? И если окажется, что я полюбил девушку, которая... не разделяет моей веры, должен ли я отказаться от недостойного чувства (но как?), или есть другой путь?

Феликс обвел глазами собравшихся. Ему было стыдно, что он, стремясь столько сказать о главном, говорил почти исключительно о себе самом, о своих слабостях и глупостях, что выболтал, на самом деле, куда больше, чем собирался.

— Не кори себя, Феликс, — почти ласково отозвался... нет, не Констант, он хранил молчание, а именно Аристарх, — жизнь глубже наших представлений о ней.

Констант молчал, словно чего-то выжидая. А иудей пробормотал себе под нос:

— Ах, как знакомо! — впрочем, так пробормотал, чтобы все могли его слышать.

— Да как же так, друг, — Мутилий все же не утерпел, — ты всё перевернул вверх дном. Греческий язык, хвала богам, обилен смыслами и словами, и ты всё время называл любовь словом ἀγάπη, — этим вашим новомодным словечком, которое у вас значит, что сами захотите. А ведь в Элладе много есть других слов: дружеская привязанность φιλία или восхищение ὀτορμή, и, разумеется, Ἔρως — имя божества Эроса, которого ты, упрямец, отказываешься почитать, изнывая под его стрелами!

— К чему спорить, — снова отозвался Аристарх, пока Констант молчал, — если ты, ценитель слов, можешь сам рассказать о своей к ним любви? Или о любой другой, которую готов будешь назвать земной или небесной.

Феликс был благодарен Аристарху за спасение от позора и немного сердился на Константа — его духовный наставник не пришел к нему на выручку. А Мутилий, он же Филолог-любослов... что и говорить о нем! Все это было сотни раз с ним обговорено, другого и не стоило от него ожидать. Пусть теперь, в самом деле, попробует он.

— Соглашусь с другом моим Феликсом, — начал Мутилий с азартом гончей, которая напала на след, — а также с великими мужами древности в том, что небесная Афродита (пусть мой друг и избегает этого имени) много выше и ценнее земной, пошлой и свойственной людям низкого склада, как убедился и сам Феликс. Хотя... что же постыдного в том, чтобы удовлетворить возникшую страсть к прекрасной девушке или благородному юноше, если, разумеется, это не нарушит законов божеских и человеческих?

Какой разнообразной бывает Афродита земная (вслед за героями Платона изберу для своей речи именно это имя), мы знаем прекрасно. Одно дело флейтистка на пирушке, или гетера в свободный час, другое дело — возлюбленная женщина свободного происхождения или же — не надо морщиться, мой друг, — юный красавец, с которым разделяешь не только часы досуга, но и ночное ложе. И совсем иное (мне, правда, еще не знакомое) — законная супруга, которая произведет для тебя подобающее потомство.

Но что значат все они перед лицом вечности? Ровным счетом ничего, как согласится наверняка и мой друг, принявший это восточное учение за нечто небесное. Проходят годы, вянут бывшие чувства, морщины бороздят милое прежде лицо, складки желтого жира под дряблой кожей скрывают очарование юности, как волны бурного моря топят обломки корабля — и где тогда ты, Эрот?

А я отвечу: в слове и мраморе, в красках и стихах. Пракситель изваял Афродиту Книдскую⁴⁵ — что и когда затуманит ее красоту, заставить о ней забыть? Через сто веков люди будут замирать в восхищении. Но не каждый доберется пусть до самой простой копии Афродиты, — а вот бессмертные слова Сапфо⁴⁶ повторить может каждый:

*Богу равным кажется мне по счастью
Человек, который так близко-близко
Пред тобой сидит, твой звучащий нежно
Слушает голос
И прелестный смех. У меня при этом*

45 Статуя Афродиты, изваянная Праксителем в IV в. до н. э. — одна из самых известных статуй античности.

46 Сапфо — самая известная женщина-поэт Эллады (VII — VI вв. до н. э.).

*Перестало сразу бы сердце биться:
Лишь тебя увижу, уж я не в силах
Вымолвить слова.
Но немеет тотчас язык, под кожей
Быстро легкий жар пробегает, смотрят,
Ничего не видя, глаза, в ушах же —
Звон непрерывный.⁴⁷*

Что было в жизни самой Сапфо, — или может быть, в жизни ее героини, которую она только воображала, или даже героя-юноши — мы никогда не узнаем. Легкое увлечение, которое прошло за несколько дней, или роковая страсть, или просто даже фантазия об Эроте, какая приходит перед сном или на утренней заре, — но это и неважно. Она ухватила Эрота за крылышко, как цыпленка, выдернула перышко, обмакнула в чернила и записала, запечатлела мгновение — на века. Первой на всем круге земель, во всей обитаемой вселенной, и теперь кто ни влюбится, почитит не только Эрота, но и Сапфо, читая эти пламенные строки. Даже иные из варваров.

Создай, друг мой Феликс, свое повествование о любви — и спустя многие века прославят люди твою любовь небесную, рожденную от земной. А свои истории рассказывать не стану... да правда, ничего там особенного. Кто был молод, знает сам, а кто про молодость забыл, тому никак не напомним.

— О чем же еще, — Аристарх снова высказался первым, — может говорить Филолог, как не о словах? Можно было заранее пересказать всё, что ты произнесешь.

— Но я, — возразил со смехом Филолог, — сказал складнее, чем придумали бы за меня вы. А складности мне придала небесная Афродита — моя любовь к бессмертному слову.

— Трудно возразить, — словно от сна пробудился Константин, — что слово может содержать искру божественной любви. Но — не всякое слово!

⁴⁷ Пер. с др.-греч. В. В. Вересаева.

— И это отлично нам знакомо, — снова пробормотал иудей, какой-то невнятный собеседник, словно и не участвовал в разговоре, а лениво наблюдал за полетом облаков или плеском рыбы в реке.

— И если нет больше дополнений или вопросов к речи Мутилия... ведь нет? Перейдем к той, что приготовил нам третий наш друг, Маний, — тоном распорядителя повелел Констант.

— Я, напротив, — отпив вина, начал тот неторопливым и сладким голосом, словно переливал густой мед из сосуда в сосуд, — расскажу историю, но не свою, ибо нет в моей жизни ничего особо достойного вашего внимания. Мы, сыны Востока, любим истории, и может быть, потому кажемся вам, римлянам, варварами, хотя мудрость наших народов превосходит вашу веками, не говоря об остальном. Но там, где болтливый грек, — а здесь ведь нет природных греков? — будет бесконечно перебрасывать, словно горячие каштаны из руки в руку, всевозможные хитрые словечки, там бесхитростный восточный варвар расскажет вам, что было на самом деле, и может быть, вас займет это повествование.

Представим себе, друзья, знатного и влиятельного господина, чей добрый нрав всем известен, а достояние не заставляет его заботиться о земном, кто всецело посвятил свою жизнь служению Отечеству. И вот этот человек отправляется по своим, разумеется, делам, а отчасти и по прихоти сердца, в путешествие по дальним землям. И какую же он посетит прежде пустынного Египта или приморской Финикии? Разумеется, прекрасную Элладу, ибо она собрала финикийскую и египетскую мудрость, присовокупив к ним вавилонскую волшебку и много других умений из разных стран, и, приправив зеленью собственных словес, в которых столь навывк упражняться Мутилий, досыта накормила этим блюдом римлян.

И вот наш благородный господин, посетив блистательные Афины и великий Коринф, отправляется дальше на Восток, в земли Вифинии и Понта, где эллинское поверхностное изящество встречается с мудростью народов более зрелых. Назовем нашего героя, к примеру... Андроном. Сразу скажу, что видеть мне его лично не доводилось, так что можно принять всё это за некую поучительную басню, за красивый вымысел, каких много ходит по свету, вроде истории о Дафнисе и Хлое,

или о Херее и Каллирое⁴⁸. И вот в путешествии по, скажем, Вифинии, на одном из празднеств он замечает златокудрого мальчишку лет, скажем, двенадцати. Назовем его, к примеру, Алкиноем.

— Адриан и Антиной, — еле слышно прошептал Феликс и тут же поймал на себе укоризненные взгляды остальных. Мало того, что прежде он так явственно заявил о себе как о христианине (а ведь само это имя служит приговором!), так теперь еще дерзко перебил рассказчика, и более того — указал на то, о чем все умолчали. Закон об оскорблении императорского величества никто не отменял, а басни о его скорби по возлюбленному Антиною и тем более о прежней их любви слишком уж похожи на такое оскорбление.

— Андрон и Алкиной, — настаивает финикиец, словно не замечая, что секрет его раскрыт, — назовем их так, и не будем доискиваться иных имен, — ведь за имена цепляешься только тогда, — да простит меня наш ученый друг Мутилий, — когда не можешь справиться с сутью. Итак, Андрон и Алкиной, зрелый муж и нежный мальчик. И чувство, которое вспыхнуло между ними...

Вы подумаете, быть может, что это самая земная, самая пошлая разновидность Эрота. Но не торопитесь судить. Лучше представьте себе мужчину, прожившего на свете лет около пятидесяти, добившегося всех мыслимых и немыслимых успехов и почестей, увенчанного всеми достоинствами и добродетелями. Мужчину, которому не к чему больше стремиться, а жизненный век его еще долог, да продлят его боги благие до сотни годов и да добавят сотню другую.

И рядом с ним — нежный мальчик из простой семьи, нить судьбы которого сокрыта пока и от него самого, который — как дивно настроенная кифара. Сама она не издаст ни звука, но в руках умелого музыканта запоеет так, что смолкнут стихи Сапфо и не взглянет никто на статую Праксителя. Ибо человек много прекрасней мрамора, а порой и тверже него.

Что сказать вам об этой дивной дружбе? Вас, наверное, заботит вопрос, были ли они любовниками, и если да — как быстро ими стали. И некоторые, как я вижу, готовы заклеить их обоих за такую связь, простительную юнцам, но предосудительную в людях зрелых...

⁴⁸ Герои знаменитых любовных романов, написанных предположительно во II в. до н. э.

Но так ли это важно? Разве мужчине такого положения больше нигде было утолить свою плотскую жажду? Не было у нашего героя недостатка в наложницах или обожателях. Нет, его грыз голод иного рода.

Представьте себе комнату в роскошном дворце, где после всех забот и дел мальчик и мужчина... а вернее, два мальчика, постарше и помладше, болтают о какой-то ерунде, читают книги о путешествиях или даже устраивают на мраморном полу сражения игрушечных легионов по собственным правилам. И тут вы снова скажете: «не подобает». Да так и говорили многие, не вслух, разумеется, а тихонечко, про себя. Но кто вправе осуждать чужие мечты, особенно когда они становятся явью?

Мужчина встретил в этом мальчике свое собственное детство. У него не было своих детей, по крайней мере, официально признанных, хотя ради высшего блага он усыновил двух достойных мужей⁴⁹, один из которых со временем унаследует его... кхм, подвластные ему ныне земли. Но он хотел не сына — он хотел детства, и он нашел его в Алкиное. Почему именно этот златокудрый мальчишка был выбран им из тысяч подобных? Кто-то скажет — случай, а кто-то — предназначение.

Но как бы то ни было, Андрон мог рассказать мальчишке обо всем: о нашествии варваров на дальней границе, или об интригах придворных в собственном дворце, о том, что сегодня разболелась отчего-то голова, или о том, что жрецы пугают дурными предзнаменованиями — и получить от него злую шутку или милую улыбку, а то и просто приглашение поиграть. И можно было забыть обо всем, и уже неясно было, кто из них на самом деле старше!

Что получал, чего ждал от него ребенок — этого мы, пожалуй, не узнаем, да и кто о таком спрашивает детей? Но что мы знаем точно — он не желал для себя власти, не пытался использовать своего друга, чтобы осыпать золотом свою семью или товарищей по играм. Я думаю, что ему просто был нужен любящий взрослый, кто-то вроде отца и друга одновременно. А почему — это от нас скрыто, история Алкиное до его встречи с нашим героем неизвестна, а кто о ней знает — крепко молчит.

49 Император Адриан усыновил Луция и Антонина, который и стал его преемником.



Но среди ночи мужчина снова вышел на палубу, долго всматривался в густое звездное небо, дождался падения хвостатой звезды, совершил возлияние богам и сам испил добрую чашу неразбавленного вина – и отправился почивать.

Так шли годы. Алкиной сопровождал Андрона повсюду, вокруг них возникало множество историй, лишь отчасти правдивых, — но это ведь была их собственная сказка. Например, рассказывают, что в египетской пустыне мужчина спас мальчика от льва, и потом из трупа страшного зверя вырос прекрасный лотос. Была ли то правда? Подумайте сами: кто бы позволил столь знатному и влиятельному человеку, как наш Андрон, разгуливать по пустыне без охраны? Растут ли там лотосы? А даже если бы это было и так, каким образом он смог бы убить льва голыми руками?

Может быть, они лишь играли в львиную охоту, а убитый зверь был на самом деле игрушкой. Но для них двоих эта игра была важнее всех государственных дел, которые вершил Адри... Андрон. И лотос их нежной привязанности рос из этих игр, украшая их повседневность. А может быть, мужчина спасал мальчика от того льва, который просыпался внутри самого ребенка. Андрон... он не старел, разве возраст за порогом пятидесяти лет можно назвать старостью мужчины? А вот мальчик перерастал свое детство. Мужчина видел: в нежном и веселом его Алкиное просыпается лев, который показывает клычочки и коготочки, скребется потихоньку и рвется наружу, и однажды разорвет его изнутри. И пока мужчина мог, он спасал ребенка. Своего внутреннего ребенка, которого он называл Алкиным, которого он неожиданно встретил в вифинском златокудром мальчишке.

Лев все же вырвался наружу. Они плыли вверх по Нилу в очередном путешествии — чем острее царапали коготки, тем сильнее влекло их к новым впечатлениям, словно величавость пирамид или поющие статуи таинственных храмов можно было бросить этому львенку, как лакомую приманку, чтобы отстал. Чтобы, ночуя каждый раз в ином месте, не думать о том, как постыла обычная жизнь...

Стояла ранняя осень, когда дни еще звенят от жары, но ночи дают толику прохлады. Андрон вышел на палубу своего плавучего дворца полюбоваться звездами, вдохнуть свежего речного воздуха — а на самом деле, найти своего Алкина, который отлучился еще на самом закате. И он обнаружил его где-то в дальнем углу — он зажал там девчонку-рабыню, млял ее и тискал, как это водится у юношей, еще не переставших быть мальчишками, а она повизгивала, довольная.

Властелин половины обитаемого круга земель, самый могущественный человек на свете стоял, беспомощный, безоружный перед природой, которая брала свое в лице двух полудетей, познававших первые радости даже не земной любви, а страстной мечты о ней. И не знал, что ему сказать — просто развернулся и пошел в каюту, похлопав Анти... Алкиноя по плечу. И тот, как укрощенный лев, выпустил свою ничтожную добычу и поплелся за повелителем, — но уже не за другом.

Мы не знаем, что было между ними в корабельных покоех. Но среди ночи мужчина снова вышел на палубу, долго всматривался в густо-звездное небо, дождался падения хвостатой звезды, совершил возлияние богам, сам испил добрую чашу неразбавленного вина — и отправился почивать. Он, кажется, совсем не заметил всплеска, довольно громкого в ночной тишине — да мало ли живности в Ниле, чтобы беспокоить по ночам путешественников суетливой плескотней?

Он закричал сразу, как раскрыл дверь каюты. Алкиноя не было внутри, было раскрыто окно — достаточно широкое, чтобы в него протиснулся долговязый подросток. Опустим покров милосердия над нашим героем, не будем показывать его слез, пересказывать его сбивчивых приказаний и горячечных молитв. Тот день, и следующий, и еще много, много дней будет он ждать, не принесут ли ему тело юноши, не отдаст ли Нил пусть даже малейший намек, тончайший след — только что могло остаться от мальчишки, бросившегося глухой безлунной ночью в крокодилью реку голышом? Всё было кончено.

Остальное вы знаете. Наш повелитель не смог смириться с потерей земной своей любви и назначил ее — при помощи услужливых жрецов — небесной. Они признали Антиноя богом, — ибо вы поняли, конечно, что речь идет о нем, — а повелитель построил в его честь город, учредил игры, заказал статуи — и теперь весь земной круг почитает новое божество, небесную любовь, которая никогда, никогда не поиграет с ним в солдатики, не ужаснется коварству пиратов из прочитанной книги, не прижмется доверчиво и просто: «тебе сейчас грустно, а мне скучно — нарисуй барашка!» И взрослому остается быть взрослым. И никакой другой мальчик не заменит ушедшего, не отменит закона судьбы, не позволит заиграться в детство.

Впрочем, говорили об Антиное, что он и впрямь вознесся, обожествленный, на небеса, а что до плеска — это упали в воду его сандалии — да только какие сандалии у того, кто вечно ходил босиком? Будем считать, то резвились нильские гиппопотамы. Впрочем, есть и такие, кто говорит: белокожий и светловолосый юноша — много ли таких в Египте? — обнаружился впоследствии где-то возле Фив, это мог быть Антиной. Но я скорее бы полагал, что это раб, привезенный с севера — ведь и в наших краях встретишь чернокожих рабов. Нет, чтобы он переплыл ночью Нил и выбрался на сушу — это решительно невозможно.

Что до меня, я слышал эту историю от того, кто был ее свидетелем и попытался утешить императора в его потере — от своего патрона, верного спутника божественного Адриана, удостоившегося чести быть принятым в число его друзей. И приношу ее вам в надежде, что вы отнесетесь к ней бережно и рассудительно, не подвергая опасности ни себя как ее слушателей, ни меня как ее рассказчика.

Слушатели были благоразумны. Констант с некоторой осторожностью произнес:

— Я слышал подобную историю об одной из наших... Полвека назад, не менее, была она рабыней у одного знатного римлянина, который ею... скажем, увлекся. Увлекся настолько, что истязал, принуждая отречься от веры и согласиться на его домогательства. И девушка чистых помыслов и святой веры прыгнула в море, лишь бы избежать несомненного насилия. И что примечательно, некоторые тоже утверждали, будто видели ее или похожую на нее впоследствии на другом берегу, а другие говорили, что она являлась им и раскрыла, как была вознесена ангелами на небеса, в чем лично я, впрочем, сомневаюсь...

— Много, много таких историй рассказывают в нашем мире, — с каким-то вдумчивым безразличием отозвался Аристарх.

А иудей (Феликс от волнения успел уже забыть его подлинное имя, а называть греческой его заменой — Мнесилох — ему не хотелось) откашлялся и сказал:

— Да, у царей народов бывают разные странности. Но нас, иудеев, они обычно не беспокоят.

— Вас беспокоит нечто иное, что тоже исходит от них, — немного язвительно ответил ему Аристарх, — но об этих указах мы сейчас не будем.

— Отчего же? — вскинул раскидистые брови Иосиф (наконец-то Феликс вспомнил!), — ты хочешь, верно, намекнуть, что я не решусь говорить о разрушенном Иерусалиме и о том, что нам запрещено в нем селиться? Но именно об этом я и хотел бы вам поведать! Герой прошлой повести — его, кажется, звали Андрон? — попытался заменить земную любовь небесной. Я расскажу вам историю человека, которого знал лично, и с ним произошло нечто иное: небесную любовь он попытался подменить земной.

Как прекрасно вам известно, более полувека назад наш город, Иерусалим, был разрушен римскими легионами вместе с Храмом, где почитали мы Единого Бога, о котором имеют знание и некоторые из вас, собравшихся здесь, пусть и не совсем такое, как хотелось бы мне. И кто-то из недоброжелателей моего народа может подумать, что мы затаили обиду на римлян, что хотим им как-то отомстить... нет ничего нелепее этой мысли! Все, что происходит с народом моим, Израилем — а точнее, с народом Всевышнего — происходит исключительно по Его благой воле. Он милует, но Он и наказует — и разрушение Храма оказалось несомненно благим, хоть и горьким лекарством.

Все дело в том, что слишком многие из наших увлеклись неким новым учением, связанным с именем Иисуса из Назарета. Нет, я знаю, что среди вас тоже есть его приверженцы и ничего не имею против того, чтобы к нему обращались люди из числа тех, кто прежде приносил жертвы Юпитеру и прочим богам, — все же так они отвращаются от откровенного многобожия, а со временем, можно надеяться, разберутся и со всем остальным. Но когда иудей ставит кого-то из своих мудрецов вровень со Всевышним — да не будет! — он согрешает, притом тяжко. И когда согрешения эти выросли в числе и отяжелели, как гроздь винограда к осени, тогда пришел жнец и срезал гроздь. Жнецом были римские легионы, а серпом — их мечи, но Властелином жатвы был, конечно, не могущественный царь, а Тот, перед Чьей властью не устоит и царь, как могли мы заключить из предыдущего рассказа.

И что вы думаете? На месте Иерусалима строится ныне римская колония, носящая имя земного нашего царя и того, что он почитает священным — Элия Капитолина. Да и пусть строится. Чем бы ни стал теперь этот город, он точно не будет рассадником новомодного учения среди иудеев, которым, кстати, запрещено теперь даже вступать в его пределы. И так Праведный Судия указывает нам: не в камнях и обрядах дело, они были важны, пока мы были младенцами, — сегодня мы должны строить новый Храм в своих собственных телах, мы должны приносить Ему вместо животных жертв собственные души. Нет ныне в Израиле человека-царя, и, полагаю, не будет, а это значит, что на царском престоле воссела другая царица — Тора, данный нам Закон, и его правлению не будет конца. Удел наш земной — везде, где мы чтим свою царицу, пусть даже разрушен Иерусалим.

«И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его по роду его, и увидел Бог, что это хорошо», — так говорит царица наша Тора. И если дерево не приносит плода, то будет срублено, но по милосердию Творца может из корня в земле произрасти новый побег, и в свой срок он даст урожай.

Был в стране израильской человек, имя его Шимон. Он родился в богатой и счастливой семье, и с детства не было у него ни в чем недостатка. Главная обязанность иудея — изучение Торы, но многим приходится сочетать этот труд с зарабатыванием денег ради пропитания, своего и своей семьи, но для Шимона это было просто не нужно. Не было у него пока и семьи, — считая, что заповедь изучать Тору выше заповеди плодиться и размножаться, которая была дана даже растениям, не говоря о животных, он отложил вступление в брак и целиком посвятил себя занятиям. Он учился, хоть и недолго, у самого рабби Акивы⁵⁰, нового Моисея наших дней, который собрал воедино все достойные внимания толкования и выразил самую суть нашей веры. Он и вдохнул, полагаю, в Шимона эти высокие и благочестивые мысли, которые, соединившись с юношеским задором, привели к крайностям, вполне извинительным в двадцать лет.

Шимон, младший из четырех детей, жил со своей овдовевшей матерью, и был у него благочестивый покровитель, учитель и друг, имя его Менахем. Если бы можно было не разлучаться с ним день и ночь, а

⁵⁰ Рабби Акива — один из главных законоучителей иудаизма I—II вв. н. э.

вместо еды и питья слушать лишь его речи, юноша так бы и делал. Но Менахему то и дело приходилось отлучаться из дома по торговым делам, порой и надолго, и он оставлял Шимона в собственной комнате, читать и переписывать свитки и помогать смотреть за его домом, пока сам он в отлучке.

И вот однажды... Представьте себе сумрачную комнату, в которую прорывается узкий луч света сквозь небольшое окно под самой крышей. В ней — стол, за ним юноша, склонившийся над свитком. Он погружен в мир слов и идей, а этот пошлый мир вещей и людей — на самом деле всего лишь тесная, темная пещера, освященная узким лучом небесного света, который открывается ему в книге. Всё как у вашего Платона. Любит он только небесное, и нет любви более чистой, высокой и истинной, нежели эта.

И вдруг он слышит шуршание и писк. Мышь! Бывает ли у книжных свитков враг страшнее? А если она проберется в сундук, где Менахем хранит свои счета и деловые письма — жди беды! Шимон никогда не открывал его прежде, и не должен был его открывать, но где хранится ключ, он знал. И вот в поисках хвостатого разбойника он распахивает сундук, перебирает свитки — ведь мышь наверняка прячется на самом дне.

Заметил он не мышь, которой там и вовсе не было — на одном из отложенных свитков он углядел нежный и небрежный почерк своей матери, — он узнал бы его из тысячи. И вот он разворачивает письмо в полной уверенности, что встретит там нечто мудрое и благочестивое... А папирус крошится под руками, ведь ему столько же лет, сколько Шимону, и написано в нем: «Кого люди считают отцом, тот нарек младенцу имя Шимон, но ты же знаешь, Менахем, что в каждой черточке его еще нераскрывшегося миру лица — твои драгоценные черты».

Он выбегает в ужасе из этого дома и долго-долго всматривается в поилку для скота, чтобы увидеть в водяном отражении самого себя (прежде никогда его это не волновало) — и с ужасом узнает прямой нос и высокий лоб любимого учителя. К ночи он исчезнет, и никто больше не увидит его в родном доме. А Менахем, вернувшись через две субботы домой, обнаружит на столе краткую записку: «Отец мой, я верил тебе как Богу, а ты лгал мне всю жизнь».

И на том закончилась история Шимона, история его небесной любви. Началась история человека, который называет себя Бар-Козива, то есть «сын лжи», в память о прелюбодеянии матери и учителя, а поскольку звучало это слишком уж неприлично, его последователи переделали это имя в Бар-Косева, которое не значит в общем-то ничего. А последователи — о да, их у него теперь много! Потому что небесную любовь он сменил на земную, а это ведь проще, хотя и пошлее, как верно заметил ваш Платон. Не в силах избавить собственную душу от гнета обид и страстей, он мечтает освободить Иерусалим. И собираются вокруг него все огорченные душой, и готовит он мятеж, который грозит народу иудейскому неисчислимыми бедствиями, и мечтает, пожалуй, так отомстить своему подлинному отцу за предательство.

Чем, в конце концов, он недоволен? Тем, что его подлинный отец не отверг плод своей слабости, избавил его мать от позора и дал ему лучшее воспитание? Это еще нелепее, чем мстить римским легионам. Но он злобен и слеп, он шлет по всей Иудее пламенные письма на отеческом нашем языке, обличая римских захватчиков и в особенности тех, кто живет обыденной своей жизнью и не поднимается на борьбу. Кто любит, скажу я, небо больше земли. На самом деле воюет он с собственным отцом, хочет его свергнуть и наказать. Ведь он — сын лжи, а хочет стать отцом Истины, не задумываясь, что у истины уже есть Отец.

— Точно сказано! — воскликнул Константин, видя, что речь закончена, — у Истины уже есть Отец! Но Расскажи, прошу тебя, откуда ты знаешь этого... Симона? Ведь ты же не Менахем?

— Нет, конечно, ты же знаешь мое имя. Я из торговых его партнеров. А что до Шимона... Я встречал его во время моего паломничества на Святую Землю. Мы много спорили с ним об этом, ибо я приехал к книгам, а он держался за камни. И с тех пор я молю Небо о вразумлении заблудшего.

— Любить земное вместо небесного — свойственно многим, — вдумчиво произнес Аристарх, отпивая из чаши мощный глоток.

— Именно так, — оживание Константа не спадало, он словно очнулся от долгой банной дремоты, повел речь размеренно, словно на собрании говорил глубоким своим грудным голосом, — и ровно об этом я и хотел рассказать, но по-своему. И это тоже будет история человека, которого я встречал, но не в странствиях, а здесь, в Аквилее, с десяток лет назад. Он объезжал все земли, где только надеялся застать живыми свидетелей первых апостолов — учеников Иисуса, которые видели Его там, на Святой Земле. Я был при его беседе с нашими старцами, двое из которых — ныне уже покойных — помнили, как проповедовал в нашем городе апостол Марк...

Но не о том сейчас речь. Ученый сей муж, которого зовут Папий, родом из города Иераполя, что во Фригии, и он сподобился чести стать его епископом. Сей обширный и богатый город и сам не был обделен людьми, помнившими апостолов, тем паче, что именно там пострадал за веру апостол Филипп. Но чем обширнее город, чем успешнее проповедь, тем больше странных людей собирается вокруг проповедника... Мало кто настолько предан нашей вере, как Папий, мало кого так ранят любые ее искажения и людские обманы.

Однажды Папий, еще в самом начале своего служения, встретил на городской площади безумца, который утверждал, будто Господь Всемогуший послал его из рая на землю, чтобы возвестить скорое пришествие и суд над нечестивцами, и что только те, кто вместе с ним погребут себя заживо в окрестных пещерах, удостоятся воскресения. Папий убеждал, грозил, уговаривал и даже умолял людей не слушать убийственной лжи, он приводил свидетельства Писания, общего для нас с иудеями, и наставления наших собственных благочестивых мужей, а к тому еще и доводы здравого разума — но кто выбрал заразиться этим безумием, тот заразился. И погиб, замурованный камнями, а прежде того — своей дурью.

Годы шли, община росла, свидетели уходили в мир иной, то и дело слышался вокруг ропот и обвинения, и так важно было найти утешение... Наша вера дает его человеку, но дойти до самой сути бывает непросто — куда проще вцепиться в яркую небывальщину. И вот однажды он услышал, как некая благочестивая женщина преклонных лет пересказывала своим подругам историю странствий апостола Филиппа... хотя нет, кажется, Фомы, ибо именно он дошел до Индии,

но это, впрочем, неважно. И в этом рассказе речь шла о псоглавых людях, не лишенных, впрочем, человеческой души, которые внимали его проповеди, и о людях без головы, лицо которых находится на животе, и о таких, которые всю жизнь прыгают на огромной единственной ноге, а на ночь прикрываются огромными ушами. И во всех этих землях апостол — кажется, все-таки Филипп, ведь его особо чтут в Иераполе! — основал общины единоверцев. Притом сделал он это при помощи многих чудес, побеждая в прениях крылатых змиев, восходя на небеса за плодами райского сада и спускаясь в преисподнюю, чтобы вывести оттуда их колдунов и магов — пусть расскажут об адских муках!

«Видела ли ты сих людей, беседовала ли с ними?» — спросил он добрую женщину, а каков был ее ответ, нетрудно догадаться. Нет, о том ей поведала соседка, а соседке подруга, а подруге... «Бабы басни» — вот как это называл великий Павел! Строго выбрав сплетниц, он запретил им молоть чепуху и призвал прилежнее изучать свидетельства Писания и воспоминания великих мужей, которые и вправду распространили нашу веру по обитаемому кругу земель и нигде не встречали крылатых змиев, притом говорящих.

Но и это не было пределом человеческого безумия и пустословия. Прошло время, и попалась ему в руки одна книга о детстве нашего Господа и Спасителя. В этой книге маленький Иисус представал волшебником, который насылает немедленную смерть на всех, кто его толкнул, ударил, обозвал или иначе обидел, будь то товарищи по играм или учитель, который вздумал его наказать. Мыслимое ли дело, чтобы Тот, Кто трости надломленной не преломил, Кто пришел спасти погибшее и взыскать рассеянное, Кто простил своих распинателей, — чтобы Он предстал злым и обидчивым колдуном, да еще и в столь нежном возрасте, когда и самые злонаправные (в будущем) дети не склонны к смертоубийству!

Словом, Папий сжег эту книгу, сжег публично, на собрании всей общины, и неустанно проповедовал, поучал, наставлял в истине свою паству: держаться подальше от вздорных выдумок, искать Истины и только ее! А потом он задумался... Ведь эти люди принимали фальшивые монеты за настоящее золото не по злобе, а по любви. Да, по небесной своей любви к Спасителю они хотели слышать о Нем, осязать Его, призывать Его на всякий день и час своей жизни. Но они не умели

свести высокую небесную любовь на землю, не замарав ее во лжи. И Папий понял, что обязан им помочь.

Как горько пожалел он тогда, что сам, навещая старца Иоанна на острове Патмос, не расспросил его обо всем, о чем только было можно, из благоговейного почтения к великому мужу, утомленному делами и днями! Сколь многое он мог бы поведать, уточнить, прояснить, но теперь он пребывал в ином мире, вести из которого доходят к нам не напрямую, не по нашим заказам.

Папий поручил свою общину верным помощникам-пресвитерам, а сам пустился в путь. В Иераполе и его окрестностях он уже давно расспросил всех, кто застал Филиппа и его спутников, отныне путь его лежал на Юг, в Святую Землю, на Запад, в эллинские города, и конечно же, в центр мира — в Италию, в блистательный и властительный Рим. Он торопился успеть, ведь свидетели уходили один за другим, но слушал и записывал без малейшей небрежной торопливости. Три раза терял он свои записи: в кораблекрушении, когда его со спутниками ограбили на дороге разбойники, и когда, самое печальное, они претерпели побои и поругания от властителя одной из провинций, суди его Господь за притеснение невинных.

Все оказалось не так просто. Казалось бы: найди свидетеля, расспроси его... Но многие выдавали себя за свидетелей, порой свидетели противоречили друг другу: кого подводила память, кто-то настолько привык к пересказам одной и той же истории, что мелкие неточности и добавки выросли на нее, как ракушки на днище корабля, а кто и просто беззастенчиво врал: сколько наслушался Папий ерунды, по сравнению с которой и псоглавцы индийских земель диковинкой не покажутся! Но он работал неутомимо, как пчела, что садится на всякий цветок, но не от всякого цветка росу заберет в родимое гнездо, ибо не всякая роса медоносна, а иная и ядовита.

Когда я встретил его семь... да, семь лет назад, он был уже седовлас, но всё еще далек от завершения своего труда. Не знаю, справился ли он с ним теперь, а только знаю, что известие о его кончине нас не достигло — а значит, он продолжает свой путь, и верю, что труд его принесет церкви немалую пользу. Любовь к Истине небесной сопоставит он с верностью правде земной, и многих убережет от падения. Ибо люди, слушая пусть даже самые благочестивые выдумки,

либо отвращаются от Истины, считая ее нелепицей вроде псоглавцев, либо начинают смешивать одно с другим, и неизвестно, что есть бóльшая мерзость в Господних очах.

— Откуда ты знаешь, — спросил Аристарх, заметив, что Константин завершил повествование, — откуда знаешь, что нет на земле людей-псов? Мало ли что кроется в неведомых индийских пределах... Да и, признаться, некоторым из наших общих знакомых очень пошла бы песья голова.

— От воинов Александра не имели мы известий о таковых, — ответил тот, — а они доходили до Индии. Да и не в том дело. Будь на свете люди с жабыми головами или совиными крыльями, будь сирены и кентавры обитателями морей и суши, стой сейчас сам Геракл со свежесрубленными головами лернейской гидры в корзине у дверей моего дома — не о том Благая Весть. Совсем не о том. Спасение разменять на бабьи басни?

— Были бы мы еще уверены, — вступился сумрачно иудей, — что сама ваша «благая весть» не относится к их числу... Сколько раз спорили мы с тобой о Писании, друг мой Константин, но, прости за прямоту, уступает твое толкование тому, что передано нам отцами, как учит тот же Акива. Вот послушай...

— Не для толкований собрались мы сегодня, — прервал его Аристарх, — и уж тем менее для споров о вере, а для приятной беседы после очистительной бани. Не так ли, друзья?

— Так, — еле заметно скривив уголки губ, отвечал епископ, да и иудей не стал с ним спорить.

— А чтобы вас примирить, — продолжил Аристарх, — напомню-ка я вам о делах юных наших дней, да о земных наших эротах, что гремели тогда от Аквилеи до самого Виминация, не говоря уж об Аквинке⁵¹.

— Аристарх! — воскликнули иудей и епископ хором, мигом забыв о разногласиях.

⁵¹ Виминаций и Аквинк — военные лагеря, а затем города римлян вдоль Дуная на территории совр. Сербии и Венгрии, соответственно столицы провинций Мёзия (в более позднее время) и Нижняя Паннония (в описываемое время). Эти города были расположены на торговом пути, ведущем из Аквилеи на Восток.

— Таково мое имя, — согласился он, — но не условились ли мы не прерывать друг друга, пока каждый не закончит? Не это ли правило отличает беседу достойных мужей от гвалта мальчишек?

А поскольку я вижу, что вы и впрямь умолкли, то, выразив благодарность вашему терпению, продолжу. Да, вдоль всей границы по Данувии⁵² долго помнили таверны наши веселые шаги! Ты, Констант, торговал стеклом для удалых пиршеств, ты, Мнесилох — украшениями для милых подруг, а я по бедности и неспособности — развлечениями для простецких сердец, и платили нам звонкой монетой, и наливали нам дешевое вино, и раздвигали для нас ноги, тоже не очень дорогие... Впрочем, что это вы там морщитесь? Было, друзья мои, было.

Воспоминания о тех веселых днях до сих пор согревают душу зимними стылými ночами. Что до меня — природная скромность не позволяет хвастаться былыми подвигами, а вот ты, Мнесилох, помнишь ли, как наворачивал жареные свиные ребрышки, десницей своей отправляя их в рот, а шуйцей — хватая за увесистую ляжку служанку-хохотушку? Она еще подмигнула тебе два раза, а ты ей в ответ один: мол, хватит с тебя и одного денария⁵³? Ты и тогда везде торговался!

Помнишь, Констант, как мы удирали из Виминация, бросив остатки товара на верных рабов, и кстати, половина так тогда к вам и не вернулась — ну, а мой товар всегда при мне? Ревнивый центурион поклялся тогда тебя прирезать, и тебя, что того Павла, ночью спускали в корзине с городской стены — вот как пришлось тебе уподобиться учителю! — а мы с Мнесилохом делали вид, что слушаем под ней ночного соловья? Признайся, с корзиной ты всё придумал потому, что уже читал это в Книге Деяний? Кто бы тогда угадал, что ты станешь епископом...

А помните, друзья, ту сестрицу пропретора? Ее стройный стан и слегка полноватые ноги, которые она так задорно задирала в танце... Слышал, что и она прошла посвящение и теперь служит Благой Богине.

Вижу, друзья, вы скоро лопните от возмущения, но не стоит так горячиться — если лопнете, банщику ведь потом придется отмывать от вас помещение. Что может быть глупее, чем сердиться на свое прошлое? Оно прошло, но воспоминания о нем забавны, не так ли? Впрочем, еще

⁵² Данувий — римское название реки Дунай.

⁵³ Денарий — римская серебряная монета.

глупее только одно: сердиться на того, кто о нем напоминает. Впрочем, вы и не гневаетесь, знаю, ибо не раз слышал от вас, что сердиться на меня решительно невозможно. И вполне с этим согласен.

Так вот, друзья мои, все то была не любовь. Ни земная, ни, тем паче, небесная. Мы были глупыми щенками, которые тыкаются в брюхо жизни, ища там сиську поувесистей и посочней, не догадываясь, что мир много больше этой сиськи. Мы со временем остепенились, вы, друзья, привели в дома супруг и обзавелись потомством, а стало ли то для вас любовью, решать вам.

И вот пришло время, когда мы, слепые кутята, точно так же стали тыкаться в поисках небесной своей любви. Ты, Мнесилох, вспомнил, что ты Иосиф и всерьез отнесся к вере предков, а ты, Константин, прошел обряд обливания и придумал, будто ты епископ. Ну, а о себе по присущей мне скромности умолчу. Но мой вопрос тот же: не слепы ли мы, не ищем ли мы снова большую и сочную сиську, которая накормит нас вечностью? И если да — то есть ли она, эта сиська? А ответа у меня нет. Нет его, полагаю, и у вас.

А что до вопроса, который задал в самом начале беседы Феликс, то никто из вас его как будто и не заметил, не стал на него отвечать. А я отвечу, хотя настоящего ответа у меня нет. Ты, друг мой, тычешься и мечешься, как и все молодые. Не бойся ошибок. Ищи свою сиську, авось найдешь. В конце жизни жалеют о том, чего не сделали, а не о том, что совершили. И на этом я закончил.

Феликс сидел огушенный. Сейчас небо должно пасть на землю, Константин должен решительно отвергнуть весь этот наглый немислимый поклеп...

— Да, на тебя решительно невозможно сердиться, — приобнял Аристарха Мнесилох.

— Но и всерьез воспринимать — тоже, — рассмеялся Константин.

Когда они, наконец, вышли из терм, был уже ранний вечер. Феликс понял, что день его завершен, он уже не успеет ни к дому своей любви (да и надо ли ему туда ходить?), ни, к примеру, к Паулине (вот точно не надо, но хотя и не запрещено). Только легкий ужин, чтение, молитва перед сном...

И все-таки не все было досказано — он вызвался проводить Константа. Некоторое время шли молча, в сопровождении раба, который нес его принадлежности для бани (раб, разумеется, тоже был христианином, но во время беседы почтительно ждал господина в раздевалке с другими рабами).

Аквилея понемногу затихала. Еще тащились с грохотом по каменной мостовой редкие ручные тележки с товаром, еще продавали в закусовых остатки бобовой каши, черпая с самого дна тяжелых, вмурованных в стену глиняных котлов, еще брели по своим делам прохожие и шмыгали вездесущие мальчишки, и как раз совершала неподалеку, на площади, свой вечерний развод городская стража. Но солнце уже почти зашло, скоро на улицу можно будет выйти разве что с факелом или лампадой. И хотя ночная Аквилея, благодарение всё той же страже, вполне безопасна, кому же захочется зря жечь масло?

Когда друзья отошли за пределы слышимости, а до дома оставалось совсем немного, Феликс решился:

— Я хотел тебя спросить, господин мой Константин...

— Да? — Тот не очень был склонен сегодня к разговорам, похоже. И ожидал какого-то подвоха — или Феликсу только так показалось?

— Что знаешь ты о той девушке... меня отчего-то так взволновал рассказ о ней.

— О какой?

— О той, что бросилась в море, лишь бы не...

— Да почти ничего. Рассказывали наши единоверцы из Далмации, и запомнил я ее имя: Эйрена или Суламифь... ее почитают как свидетельницу веры, хоть не уверен я, что это тот самый случай, ведь кажется, что смерть напрямую не грозила ей, жизни она лишила себя добровольно.

— Вот бы и мне встретить такую, — с неискренней мечтательностью в голосе воскликнул Феликс.

— Это было давно, — отозвался не в лад Константин, — и всем ли быть героями? Ищи себе простую добрую душу и не жди, что она будет какой-то особенной...

— Да, мой господин... А тебя... прости за нескромный вопрос...

Он не сразу решился, а Константин его опередил — воистину, он читает в сердцах и умах!

— Ты хочешь спросить, не смутил ли меня рассказ Аристарха?

— Да!

— Ничуть. Да, и я был молод, и я грешил, но отринул такую жизнь. Тебе повезло больше — ты расстался с языческими мудрованиями и связанным с ними развратом заметно раньше меня.

Незаслуженная похвала обожгла сердце, как горячий сосуд ладони, и он поспешил спросить:

— Но тебе не хотелось бы попросить его... не говорить о таком? Или, по крайней мере, запретить нам такое выслушивать?

— Ничуть.

— И тебя не обидит... ты не запретишь... в общем, можно мне общаться с ним дальше?

— Да на здоровье, — рассмеялся Константин, — старый болтун пропал где-то полжизни у своих греков или сирийцев, а теперь вернулся в нашу добрую Аквилею напоминать нам грехи юности. Вот уж не будет тебе вреда услышать о том, что твой епископ был когда-то шалопаем! Покаяние, сопровождаемое крещением, — он многозначительно воздел палец, — смывает все грехи.

И помолчав, добавил:

— Пожалуй, только одно бы я запретил добрым христианам: ходить в бани с иудеями! Слишком... слишком веры похожи. И кто-то из наших может решить, что так и надо. Что эта их Тора, эта книга — ну, или наша книга — важнее всего на свете. Что неважно, как мы живем, а важно, что читаем...

А все эти шалости, все эти огрехи юности — зелень земная. Просто зелень земная, вянет, облетает, увядает она, и не сыщешь в зимний снегопад ее следа.

Стасим. С кем ты?

«Стасим», — вспоминает она слово, когда попадает в свой тягучий, медленный сон. Ей некуда деться, она не может сбежать, ей становится страшно. «Стасим» — что это значит?

Они не сдвинулись с места. Как и вчера, Старец сидит на серо-пепельном камне у одинокой арки, как и вчера, по небу плывут редкие облака, и разве что тени продвинулись дальше — в этом мире продолжается день, он уже перевалил за середину. Камни пылают жарой, она не дает дышать, воздух вязкий и горький, Паулина не может и шагу в нем ступить, ноги налиты свинцом. Руки — да, они еще двигаются, с усилием, словно тесто плотное месят. Это старость, — думает она. Это просто старость. Как нелепо было бы умереть сейчас, у самой цели...

— Это стасим! — кричит девчонка.

Как она выросла, оживилась, да что там — похорошела! Дерзкая красавица тех самых лет, когда к девчонкам начинают присматриваться женихи.

— Стасим, говорю же тебе!

— Что ты такое несешь?

Воздух обжигает гортань, но, кажется, можно притерпеться.

— Стасим, стасим, стасим! А ты забыла слово! Пока не вспомнишь, никуда не пойдешь!

Мелкая дрянь прыгает на одной ножке и показывает язык, словно ей лет пять.

— Ну так помоги же мне, — Паулина старается быть рассудительной.

В лазоревой сини клубится спасительное облачко — немного прохлады, только бы ему не пройти мимо. Или пройдет?

— Я-то тебе чем могу помочь, — вдруг серьезно, совсем как взрослая, отвечает девчонка, — если ты себе помочь не позволяешь?

— Я? — ахает Паулина.

— Да, ты, ты! Зачем ты отдала ему власть над собой, этому грибу? Растет себе — и ладно.

Она показывает пальчиком на Старца, а сама держится на расстоянии, готовая, чуть что, отпрыгнуть, убежать по ступенькам... Вот глупая, ведь споткнется, расшибется!

— Да как ты смеешь о нем так! Отче, скажи ей...

— Отче твой лежит в могиле, и давно, — девчонка не унимается, — а ты себе нового придумала. Епископы там, пресвитеры всякие... Ты что, маленькая, без них не справишься? На хрена тебе они?

Еще и ругается, как уличный мальчишка. Вздуть бы негодяйку!

— Ой, какие нежности... ну ладно, скажу вежливенько: они тебе зачем? Ты чего от них ждешь? Чтобы они тебе всё разжевали да в рот положили? А сама никак? Взро-ослая, а туда же, духовные отцы, духовные чада. Бред какой-то.

— Это наши наставники в добродетели... — она снова пытается быть разумной, но и сама не верит своим увещаниям. И девчонка это чувствует.

— Добродетель... Пустое, звонкое слово! Это что? Одни говорят так, другие эдак. Вот иудеи — у них всё вроде как на ваше похоже, а свинину, к примеру, не жрут. Ну ладно, ладно, не кривись: не едят. Даже вот так скажу: не вкушают. Ты же любишь такие сладенькие словечки, которыми сыплет этот ваш Константин? Вы за ними прячетесь от мира, где жрут и срут и всякое такое, ага.

— Мы отринули искушения мира, — отвечает Паулина, отчего-то голосом Константа.

— Да ладно врать-то, — смеется та, — вы сами не знаете, чё там у вас и как. Короче, иудеи: у них свинина. А эти ваши в городе по пятницам постятся, а кто и по средам — а в деревне нашей о таком и слыхом не слыхивали. А где тебе лучше-то было?

— В деревне, — проглатывает Паулина комок, — но там ведь были те, кого я...

— Любила, — девчонка беспощадна, — а этих, что ли, уже нет? Они, сама говоришь, с Богом. Ну и теперь — братья и сестры твои во Христе повсюду, сама говорила. И что? Не впечатляет, да? А сама думаешь Бога удивить? Творцу мира что важнее: чтобы свиной хрящик

ты часом не обсосала, или чтобы в пятницу ничего не вку-ша-ла? Ему точно дело есть до этой ерунды?

— Это нужно мне самой, чтобы...

— Чтобы чё?

— Смиряться перед Богом.

Девчонка фыркает.

— Хорошо, смирайся. Чё, работает? Чё он сделал с твоей жизнью, если всерьез? Ты — счастлива? Или, как вы это называете — бла-жен-на?

— Отче, да запрети же ей! — Паулина кричит Старцу, но тот загадочно улыбается из-под своего капюшона, слушает обеих, молчит.

Неподалеку на камне — серая неприметная змейка, подняв голову, поводит из стороны в сторону раздвоенным языком. «Стасим» — это когда хор стоит на месте, теперь Паулина так некстати вспоминает это слово. Это из древних комедий.

— Да, стасим — девчонка, похоже, читает ее мысли, — никуда ты отсюда не сдвинешься, пока с собой не разберешься.

Все стало окончательно ясно. Змей-искуситель, всё это искушение, вот что. Его нужно просто отвергнуть, не разговаривать с наваждением, принявшим образ невинной девочки. И творить молитву.

— Ну, молчи, молчи, — та вдруг как будто сдувается, уже не дерзит, — я за тебя поговорю. Помнишь того странника, как бишь его звали? А впрочем, неважно. Появился у вас в деревне ясным погожим днем, назвался проповедником, учил вас всех жить. Говорил, что мужчине с женщиной это самое — только оскверняться, что даже брак нечист... Помнишь?

Паулина помнит и молчит. Не надо ей отвечать.

— Он же за грязь нас держит, святоша этот. Мы все не люди для него — помои. И еще много всякого говорил, помнишь, некоторые даже поверили, отказались есть мясо, стали омываться чистой ключевой водой на рассвете, исповедовали друг другу свои грехи? Придуманные наполовину. А на самом деле чё это было? Просто власти он над вами хотел. Власти, и ничего, кроме власти. И самые верные путы, чтобы вас связать — чувство вины. Мерзкой, вязкой вины.

Ты скажешь, что Константин не такой?. Конечно. Поумнее будет. Того все-таки турнули ваши из деревни, а кто турнул? Женщины и собрались, не помнишь разве? Заявили мужьям, что если они скверна, так и жрать... ой, прости, ку-у-шать им готовить не будут. Сами, мол, и готовьте тогда, чистые. Ну и стирать, и вообще. Живо мужики охолонули. А особенно кто помоложе, кому и по той и по другой части надо.

А Константин такой ерундой не занимается, ага. Он выше смотрит: как бы ему встроиться в аквилейскую-то жизнь, чтобы без его слова и чайки в гавани не сра... ну, не испражнялись, ага. Вам о гонениях рассказывает, а сам дружбу водит с кем? С богатыми да властными. И не про Христа с ними разговоры ведет, а про кошелек да про власть, власть, власть. Надо будет — и тебя швырнет толпе на расправу, лишь бы ему с этими своими договориться.

Молчишь? Ну, молчи, молчи... А чего вы все терпите-то, молчуны, не скажешь мне? Я тебе скажу, родная. Вы все хотите в рай. Очень хотите, особенно кому скоро помирать. И думаете, он вас туда по своим спискам проведет. А и то сказать, чё там рай! Вы хотите здесь и сейчас быть довольными, нужными, счастливыми. Счастья он вам только не даст. Да и спокойствия тоже. А вот иллюзию, что вы... ну, что вы кому-то там нужны со своими заморочками про пятницу, что вы во всем правы, вы, именно вы, а не эти со своей свининой, не тот со своим краником, в узелок завязанным, — этого сколько угодно вам Константин даст, это через край, с пеной. И будете терпеть как цуцики, когда будет он вас строить, доить да на вас же рявкать.

Чё, чё дает тебе эта твоя вера, этот твой бог? Фантазии, что ты еще кому-то нужна, кроме сапожника своего, чтоб стряпать? Самообман один. Вот и всё. Ты и себе не очень-то нужна, чё уж там о боге... Ты и сама соображать начала, вон, на собрание не пошла...

Паулина молчала. Страшнее всего было — если провалится она опять в далматинское прошлое, а пуще того, в прошлое до далматинского, и пойдет злая девчонка рвать, корежить, обличать всё то, о чем не перестало плакать сердце. А спорить вовсе не хотелось. Права, не права — пусть ее... Злая, бессердечная, тупая.

Молчало легкое облако в синеве, молчали усталые камни, молчали змейка и Старец поодаль, молчали небо и земля, и только девчонка

болтала — да не такая уж и девчонка. Голос рос, креп, разливался до горизонта:

— Чё дает тебе этот твой бог?

— Да вели же ты ей замолчать, — простионала она, глядя на Старца.

А тот откинул со лба капюшон, совсем откинул. Выпрямился, встал, ответил немного устало:

— Справиться с ней можешь только ты.

Черное дорассветное утро. Стук сердца, размеренный, точный, верный — всегда бы так по утрам, без этого трепета и дрожи в груди. Нависший потолок. Невидимый глазам, бессмысленный, неумолимый потолок.

— Господи, да за что же мне — так...

День четвертый. Светила небесные.

Феликс и сам, пожалуй, не ждал, что придет к этому дому. Выходя утром на улицу, он хотел просто размяться — вот и погода вроде бы стала налаживаться, нудный ночной дождь завершился, проглянуло робкое солнышко как привет от далекого лета и от нездешнего небесного мира, где всё понятней и проще.

Красные черепичные кровли роняли последние ночные капли — город оплакивал сны своих обитателей, — подумалось ему. Аквилея — имя этому городу на водах, и кто бы его ни придумал, звучит оно как «водяная». Вот и теперь лужи нехотя съезживались под солнечными лучами, но обещали, что скоро вернуться сюда, захватят эти мостовые и дворы, наполнят собой новые постылые сны и напомнят людям, что в основе всего — вода, как учил Фалес Милетский⁵⁴. Или точнее: воды великой бездны, — так учит Писание. Сама наша жизнь однажды вышла из них — и не пора ли ей туда возвратиться?

Что за чушь не придет в голову погожим зимним утром спросонья! Он дал себе слово, что не пойдет к дому Делии, даже посмотреть в ту сторону не станет. А вот к Паулине заглянуть хотелось, но... не было предлога. И вскоре Феликс обнаружил, что расспрашивает прохожих о какой-то ерунде, чтобы ввернуть под конец:

— А кстати, где живет Аристарх, тот, который... ну, театром он занимается?

Ему объяснили, и только тогда он понял, зачем на самом деле вышел из дому. Из всех, с кем Феликс виделся вчера, с ним разговаривал только Аристарх. Остальные вещали о своем прошлом, или своих великих идеях, или о том, как оно должно быть. И лишь с Аристархом было что-то настоящее, живое, лишь он один услышал вопрос Феликса и даже по-своему ответил, хотя Феликс вовсе не торопился, даже боялся принять этот ответ. Сожалеть ты будешь скорее о том, чего не сделал... Да вроде и Паулина о том же говорила? Нет, нет, и еще раз нет! Христианское покаяние — оно только за соделанное. И хватит об этом.

⁵⁴ Фалес Милетский — один из первых греческих философов, жил в VII-VI вв. до н. э. Ему приписывается утверждение, что всё в мире происходит из воды.

У входа в Аристархово жилище, довольно скромное, домашняя рабыня ему сообщила, что господин, разумеется, в театре, — ведь завтра будет новое представление и к нему надо подготовиться. И Феликс пошел в театр. Нет, разумеется, комедией любоваться не пристало, но зайти для ученой беседы — это же совсем другое!

Он позволил себе войти в театр — только его туда пускать сперва не хотели, пришлось назваться другом Аристарха. И пока он препирался с привратником, слышны были звуки громкой, но издали неразборчивой речи: на проскениуме⁵⁵, прямо перед пастью амфитеатра, разворачивалось то, что в детстве казалось развлечением, а теперь — таинством, но чужим, неподобающим для христиан.

Спор Феликса с привратником разрешил сам Аристарх. Вынырнул откуда-то изнутри, резкий, решительный, свежий — вестник своего завтрашнего триумфа.

— О, несмысленный Цербер⁵⁶, пропусти нашего гостя в мрачное свое царство! Проходи, проходи, юноша, ищущий земной любви — куда же и направить тебе свои шаги, как не в обитель Талии...

Феликсу послышалось «Делии», он чуть вздрогнул.

— Талии, Талии, мой друг, музы комедии, которая так учит нас притворяться, что, пожалуй, следуя ее урокам, сойдешь и за счастливого любовника, и за ревнивца-мужа, и за кого только пожелаешь, а ведь влюбленным это ой как пригодится!

Он снова смотрел в корень. Но Феликс собирался расспрашивать его вовсе не о любовных делах. Может быть, проницательный Аристарх научит его, как осторожно, ненавязчиво вызнать, что тебе нужно, не привлекая внимания того, с кем беседуешь? Он собирался заняться не любовными похождениями, а спасением Паулины, а для этого нужно понять, что именно ей грозит и откуда. И дать ответ мог бы, пожалуй, тот финикиец... который сам ждет ответа от Феликса. Непросто будет его переиграть.

— Но поспешим же внутрь! Там творится... мы называем это «прогон». Это зрелище не для непосвященных, но тебя, мой друг, я бы

⁵⁵ *Скеной* (сценой) в античном театре называлось примерно то, что соответствует сегодня декорациям и подсобным помещениям (закулисы), а игра происходила прямо перед ней, на *проскениуме*.

⁵⁶ *Цербер* — трехглавый пес, охраняющий вход в царство мертвых.

сам на него охотно пригласил в числе первых, если бы знал, что ты придешь! Завтра представление, мы должны последний раз всё проверить и сыграть так, как будто театр переполнен. Жаль, что всё уже почти завершилось.

Ухватив Феликса за руку, он буквально потащил его внутрь, посадил на первый ряд, где уже сидело пять-шесть незнакомых ему людей, звонко хлопнул в ладони:

— Продолжаем!

Прямо перед ними застыли двое актеров в комических позах, в нарядах и масках, по которым сразу можно было признать рабов. Сцена тоже стояла украшенной, она изображала сельский дом в далекой Аттике Менандра, в том придуманном чудесном краю, где не было иных забот, кроме неутоленных влюбленностей и мелких житейских пороков — так, чтобы в конце было что утолить и что наказать. Именно к этой развязке и шло сейчас действие.

— *Уж мы закатим всем на славу свадебку!*

— *Ты потрошками, верно нас побалуешь?*

— *Зажарим лучшие кабана на вертеле!*

— *Пирог самосский — вот где объедение!*

Аристарх вскинулся, метнулся к самим актерам:

— Нет! Всё забыли! Какой самосский? Это было в прошлый раз! Сирийский! Сирийский!

Тот, что стоял справа, кашлянул, и, не теряя позы, исправился:

— *Пирог сирийский — вот где объедение!*

И тот, что слева, подхватил:

— *Да ты смотри, не сплеховать бы, Сосия:*

Не хватит ли гостям вина на празднике,

Посуда ли окажется нечистой,

Иль ложа не застелены, как велено —

Не потрошков спина твоя отведает,

Не пирогом хозяин-то попотчует!

— *Да что, Дав, когда нерасторопным я*

Слугою был для своего хозяина?

*А что хитрил — так эти наши хитрости
Ему в конце ко благу обернулись:
Никчемные отбросив суеверия,
Он сотворил в итоге волю высшую,
Он причастился мудрости божественной
И честным браком дело будет кончено!*

Двое или трое из присутствующих захлопали.

— Поберегите ладони, — Аристарх был польщен, но не подавал виду, — это всё завтра, завтра. Сыграли неплохо, да...

Он повернулся к актерам:

— Ну все, друзья, смотрите только, завтра не перепутайте. Сирийский! Сирийский пирог!

А потом к Феликсу:

— Ты же завтра придешь? Вот и увидишь всё сам. А то что это такое, только окончание комедии видеть! Лишь расстраиваться.

— Я... не знаю, — заколебался Феликс, — но вообще я хотел тебя кое о чем спросить.

— Отлично, — отозвался тот, словно только и ждал этой просьбы, — здесь есть маленькая комната, где хранятся костюмы и маски. Сейчас актеры переоденутся, и она вся наша, никого не будет рядом.

Как же это он понял, что разговор будет деликатным?

— А для начала... — Феликсу неловко было начинать с главного, да и неясно, как, — спрошу про пирог. Самосский, сирийский — какая разница? Я ни того, ни другого не едал. И как у Менандра?

— У Менандра «фалерский», — ответил Аристарх, — но это неважно. И я тоже не знаю, каков он был на вкус и с чем вообще, тот пирог, сладкий он или соленый.

— А почему же не оставить как есть?

— А как есть? Мы с тобой не пробовали того пирога. Цепляться за слова, когда не знаешь сути? Театр, мой друг, это когда всё совсем не то, чем кажется. И мы знаем это, и мы любим это, и мы за этим туда приходим. Я немного меняю комедии, ведь это скучно, смотреть два-три раза одно и то же. Кто-то придет завтра с памятью о прошлом представлении, а увидит новое.

— Разве можно исправлять Менандра? Или Гомера?

— Гомера нельзя, потому что он умер. Кто из нас осаждает Трою? Никто. Но все мы ежедневно видим на улицах скряг, проныр, лукавых рабов, влюбленных юношей и прекрасных дев... не красней, мой друг. И потому Менандр жив. Но надо смотреть глубже. Под маской надо видеть суть. Под шуткой — тайну.

— Тайну?

— Пойдем вглубь! — и снова Аристарх ухватил его за руку, потащил мимо актеров, уже переодевшихся и вышедших наружу, вглубь, в какую-то подсобную комнатку, туда, уже за сценой, куда и свет-то еле пробивался. Зажег светильник, поставил на полку: как расточительно жечь масло в середине ясного дня, — подумал Феликс.

— Здесь мне будет проще тебе объяснить, — ответил на незадаанный вопрос Аристарх, — ты думаешь, комедия — это просто развлечение?

— Нет, — решительно возразил Феликс, — это еще и язычество, служение Дионису.

— Ну да, — рассмеялся Аристарх, — наивные простаки, вроде суеверного Демарха из нашей постановки, примерно так и думают. Скажи, ты считаешь, что Дионис действительно существует?

— Нет!

— Ну так как же это может быть служением ему?

Огонек лампы подрагивал, растянутые в улыбке комедийные маски на стенах будто оживали, когда по ним пробегали волнами тени. Смеются над ним, — почудилось Феликсу.

— Люди думают, что служат...

— А на самом деле, разве сами предания о Дионисе не открывают нам некую истину? Пусть не напрямую, намеком?

— Конечно! — горячо воскликнул Феликс, — я и сам об этом не раз думал! Дионис — порождение божества и земной девушки. Рассказывают о его жертвенной смерти, хотя тут много путаницы, но совершенно точно, что с ним связано очистительное действие пролитой крови. Его еще называют «освободителем», он спустился в Аид, чтобы вывести из него свою мать. Да и многое иное, — это так похоже на то, что мы, христиане, рассказываем о...

— Рассказываем о Христе, — закончил Аристарх, и Феликс с удивлением отметил, что он и себя причислил к Его почитателям.

— Но всё это так путано и неверно, что принять за истину невозможно. Это бесы, полагаю, исказили знание о Нем, чтобы нас сбить с толку.

— Но ведь сказания о Дионисе появились раньше, чем родился Иисус?

— Да, — растерянно ответил Феликс, — я тоже об этом думал. Получается, что они узнали об этом заранее, они ведь духи...

— Падшие, Феликс, падшие! — Аристарх говорил уже не как постановщик и не как веселый балагур, его голос звучал, как во время церковной проповеди, — не приписывай падшим духам того, что под силу лишь Всеблагову!

— Так ты веришь в Него? — ахнул Феликс.

— Разумеется, — отозвался тот, — но не обязательно же кричать об этом на всех площадях, как делают некоторые.

— Я...

— Ты всего лишь прилежный ученик Константа и ему во всем подражаешь, в том числе и в этом. Но я приоткрою тебе тайну.

Аристарх взял в правую и левую руку по маске, поднес сначала одну, потом другую к огоньку масляной лампы так, что по очереди у каждой на мгновение загорелись теплым светом глаза...

— Всеблагодой посылал людям знаки задолго до того, как случилось всё то, о чем повествует Евангелие. И поверь, что комедии Менандра (он снова поднес к огню одну из масок) содержат ясные намеки не меньше, чем, к примеру, культ Диониса (поднес другую).

— Какие же знаки? — у Феликса в горле пересохло.

— Да они везде! Ну что ты услышал, приведи пример?

— Кабанчика там собирались зажарить на свадьбу.

— Вот и отлично! Тем самым отвергается ничтожная придирчивость иудеев, которые не едят свинину, гнушаясь тем, что сотворено на потребу человека.

— Ну уж... — Феликс все же сомневался.

— Ладно, это мелочь, про иудеев и кабанчиков. Ты же знаешь сюжет «Суеверного»?

— Да, со слов друга, Мутиллия.

— И о чем комедия?

А маски, развешенные по стенам, все улыбались — алчно и строго. Там, на проскениуме, для зрителей они щерились нарочитой улыбкой, что называется — рот до ушей. А сейчас, в смутном колебании теней, хищно разевали пасти.

— Мне кажется, об этом лучше расскажешь ты, — чуть погодя ответил Феликс.

— Прекрасно, — Аристарх был явно доволен, — первый шаг к мудрости — отказ от привычных ответов. И ты его сделал. Осталось пройти посвящение в таинства, но это долгий сложный путь...

— Отчего бы не начать его сейчас? — простодушно спросил Феликс. Нет, ему явно повезло с этим человеком, который готов был дать ему куда больше, чем Феликс просил или ожидал.

— И в самом деле, — согласился тот, — только придется отодвинуть внешнее и заглянуть вглубь. Комедия Менандра — такой же намек на таинства, как и эти сказания древнего Израиля, которые иудеи присвоили себе, вообразив, будто им открыт их смысл, и даже что открыт он только им.

— Ты равняешь Менандра с Законом и пророками?

— Я равняю знаки со знаками, а невежество с невежеством. Не будем переходить на личности, но и среди следующих за Иисусом немало таких, кто выдумал, будто всё знает и ничему не должен уже учиться. Кто не видит, что и повествование Евангелия — лишь знак, а не самая суть.

— Ну уж... Бывает, конечно, и у нас невежество, но...

— Евангелие — знак. Знак, указующий на Бога, а не само Божество, не так ли? Письменное или устное слово никогда не выражает всей полноты бытия, согласен? Но оно полезно, если ведет нас к Истине. Вот так и с «Суеверным» Менандра. У Истины уровней много, на внешнем — это просто комедия про суеверного человека, который придает значение всякому чиху и не хочет задуматься о вещах действительно важных. Полезно такого высмеять и обличить. Не так ли?

— Именно так.

— Но на уровне более глубоком... Итак, есть у нас этот суеверец Демарх, его прекрасная дочь Софана, влюбленный в нее юноша Херей и мудрый советчик Лахет. А, ну и соперник Херея Никандр, неудачливый, конечно. И еще два раба, кто же будем им всем там стряпать, убирать и в делах любовных помогать. Вот и всё, и вполне достаточно для комедии. Обычной комедии про влюбленного, где он при помощи соседа и рабов обманывает строгого и глупого отца своей возлюбленной. А на самом деле... — Аристарх взял в руку одну из масок, мужскую, достаточно спокойную. Сразу видно, что носил ее положительный герой. — Тут всё открывают имена, разве это не ясно? От какого слова, к примеру, происходит имя Лахет?

— Видимо, от λαχέιν, «получать в удел от судьбы», не так ли? Или даже напрямую от имени одной из Мойр — Лахесы, которая определяет судьбу человека.

— Видишь, как просто! Итак, Лахет — неоторимая судьба, рок, с которым бессмысленно спорить, но если внять его указаниям, он подскажет тебе верную дорогу. Так и поступай.

— А как же им внять?

— На то и таинства, чтобы приоткрыть веления рока! Идем дальше. Софана?

— Несомненно, Мудрая. Необычное имя для девушки из комедии.

— Конечно. Потому что имя совсем не из комедии, оно только немного изменено. Это София, великая и прекрасная Премудрость, которую так трудно обрести в этом мире.

— И поэтому к ней так стремится Херей? Его имя, безусловно, связано со словами χαίρειν «радоваться» и χάρις «благодать». Кто обрел благодать, обрел премудрость и повод для радости, не так ли? — Феликсу начинала нравиться эта игра, подобная игре теней на поверхности масок. Да игра ли то была?

— Для душевных людей такое объяснение подойдет. Но человек духовный может взглянуть глубже. Попробуешь?

— Даже не догадываюсь, Аристарх.

— Всего две буквы, две согласных буквы, Х и Р. Кого они обозначают?

— Ты намекаешь...

— Нет, это ты начинаешь познавать.

— Но не Христос же, в конце концов!

— Почему же не Он?

— Да потому что... ну сам посуди, в этой комедии Херей уже был... уже был близок с Софией! То есть с Софаной!

— И что? Тебя удивляет, что Христос прежде сотворения мира был причастен Высшей Премудрости?

— Но не...

— Что не? Комедия — череда масок, вроде той, что у меня в руках. А в руках у него — уже совсем другая маска, пылкого юноши, героя-любовника.

— Тайна этой предвечной близости Христа и Софии — отчего бы не передать ее через маску рассказа о соитии? Тем более что самого соития не сцене нет даже и в помине.

— Еще не хватало!

— Но думай дальше. Где они сошлись?

— На празднестве в честь Пана, рогатого демона⁵⁷.

— Демон — это ведь еще одна маска, просто пугалка для детей. И никакого Пана в комедии нет, заметь. Его никто не видел в этом мире, он недоступен нам, мы можем лишь о нем рассуждать. А что означает имя Пана, слово *παν*?

— Детский вопрос. Оно означает «всё». Даже гимны в честь Пана обыгрывают это созвучие.

— Так это не созвучие. Это таинство, приоткрытое духовным, тем, кто имеет уши слышать и глаза видеть, а ведь мало кто таков из людей. Пан — полнота всего...

— Сущего в нашем мире?

— Не торопись, ты рассуждаешь, как плотский, но ты духовен, это я вижу. Это полнота всего, всех сущностей, всех веков и миров, что были прежде сотворения нашего.

— Но...

— А ты послушай.

⁵⁷ Пан — др.-греч. божество, которое обычно изображалось с рогами.

Аристарх говорил предельно серьезно — повесил на свой гвоздь очередную маску, раскинул руки в молитвенном жесте.

— Премудрость, пребывая в Полноте, обладая предвечным, надмирным, невыразимым и наивысшим благом, возжелала большего, придумала лучшее, лишилась покоя, покинула Полноту. Оказавшись в бесприютном одиночестве, она вынуждена была теперь пребывать с тем, кого комедия называет Демархом, а на самом деле он...

— ...ее отец.

— Нет! Это слишком приземленное, плотское понимание. Имя Демарх намекает на имя Демиург, то есть Создатель, и тут надо признать, что Менандр, а вернее, сила, которая им управляла, произвела небольшую перестановку. Не Демарх породил Софану, но напротив, Премудрость, или вернее, то, чем она стала, оставив Полноту, произвела от горького одиночества этого Создателя. А уже он сотворил видимый нами мир. И вот как раз бедные иудеи всё перепутали, сочтя этого самого Демиурга, довольно-таки злобного и ограниченного, своим отцом, приписали ему все пророчества и заповеди. Нет, наш Отец всеблаг! Он не опустился бы до мелочей вроде свинины.

— Ты хочешь сказать...

— Взгляни на этот мир. Сколько в нем страдания и зла, сколько несовершенства. Думать, что его породило высшее Благо — поистине, нелепая ошибка, безумная путаница, обман чрезмерно доверчивых. Этот мир стал порождением неразумной и недоброй силы, оттого в нем так много зла. Но в нем есть и Высшая Премудрость — пусть ныне она связана, пленена Демиургом, но все же не утратила полностью ни своей силы, ни тоски по Полноте. И вот в этот мир приходит Христос, чтобы избавить Премудрость от Демиурга, чтобы вернуть ее на прежнее место внутри Полноты.

Феликс молчал, ошеломленный. Он только спросил:

— А кто же тогда эти рабы... ну, Сосия и Дав. Обычные же имена рабов для комедии...

— Как и мы с тобой носим обычные имена. Как и мы с тобой поработаны Демиургом, но тянемся к союзу Премудрости и Христа, потому что в нем мы берем начало и к нему возвратимся, преодолев сопротивление Никандра — «победителя мужей». Это мы с тобой,

Феликс, и все наши единовѣрцы. И Никандр этого мира, злой искушитель, не сможет нас одолеть⁵⁸.

— А что же все-таки значат имена? Сосия и Дав? Сосия — не от слова ли σωτηρία, «спасение»? Мы — спасены Христом, так?

— К чему тебе цепляться за имена, если ты познал суть, друг мой Феликс? Ты мне вот на какой вопрос лучше ответь: «да будут светила на тверди небесной для освещения земли и для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов; и да будут они светильниками на тверди небесной», — это в какой день творения было сказано?

— Во второй... нет, в третий.

— В четвертый день, друг мой Феликс. В четвертый. Только в четвертый из шести. Тебя ничего не удивляет?

— Вообще-то да, — с удивлением и даже каким-то облегчением выдохнул тот, — получается, свет сотворен сразу, а светила — только через три дня. Откуда же он исходил сначала? Объяснишь?

— От Того, Кто не назван в этом рассказе, кто Первопричина и Полнота всего. А те самые иудеи, и среди них мой бедный друг Мнесилох, все перепутали, приняли светила за свет, присвоили его себе и заявили, будто их Тора и есть первопричина и полнота.

— Да, Констант тоже мне объяснил, как они неправы.

— Видимо, он и сам не понимает, как сам попался на их удочку, как согласился с ними в главном — что их недобрый и неумный Демиург и есть Всеблагий Вседержитель. Что поделать, он не прошел должного посвящения в Свет!

— А я? — как-то совсем по-детски спросил Феликс и тут же поправился, — А как его пройти?

— А ты только что прошел первую ступень, мой друг, — рассмеялся Аристарх, — и впереди у тебя много, много новых ступеней, если, конечно, ты пожелаешь их пройти, не растеряешься, не разменяешь первородства в Слове на похлебку привычных представлений. Если хватит смелости идти.

— Хватит, — с той же детской горячностью пообещал Феликс.

⁵⁸ В общих чертах здесь изложено учение гностика Валентина, довольно распространенное в те времена.

— Ну тогда давай выйдем под наше скудное зимнее светило, которое сушит сейчас лужи. А завтра утром приходи на представление, но только с памятью, что всё не то, чем кажется. Заодно и узнаешь, почему завтра пирог будет именно *си-рий-ским*.

— Аристарх... — Феликс чуть не забыл о главном, — я ведь хотел спросить совета...

— Так придешь? Утром, не забудь, на этот раз утром.

— Приду. Но хотел спросить.

— Про влюбленность? — тот уже стоял в дверном проеме.

— Нет, нет... Вот допустим, я хочу что-то выведать и не хочу ничего сообщать. Как будет лучше, ты же знаешь, это же как в театре?

— Всё не то, чем кажется, — повторил он назидательно, — помни об этом, не доверяй глазам и ушам, слушай сердцем. И будь не тем, кем кажешься. Тогда сумеешь.

Феликс не успел сказать, что совет слишком туманен и расплывчат — а быстрый, уверенный в себе тайноводитель уже выскочил туда, на солнечный свет, где тени не пугали, где всё казалось простым и ясным.

Этим вечером Аристарх будет у Делии и доложит ей, что мальчик уже готов к театру, а насчет остального — пожалуй, нужно чуть больше времени. Говорить об остальном он не станет, да и зачем это Делии? Она будет притворно безразлична и даже немного капризна, скажет, что в театр на сей раз не пойдет, но если мальчик хочет, пусть навестит ее после.

Этим вечером Констант и Мнесилох обмоют выгодную сделку: большая партия товаров отправляется в Дакию, где бывшие варвары учатся быть римлянами, а значит, закупают много ненужных и приятно дорогих вещей.

Этим вечером Паулина уберет после ужина, поболтает немного с Зеновием о погоде, о средстве от ломоты костей, о скандальной соседке, о базарных новостях и отправится пораньше в кровать, надеясь, что хоть сегодня будет почивать без снов.

Этим вечером Феликс встретится с Иттобаалом, постарается потихонечку выведать, написан ли уже на Паулину донос, и если да, то кем. И получит, как пощечину, тихое уведомление: если не написан, так

скоро будет, и не в личностях, в конце концов, дело. А сам Иттобаал и расспрашивать его не станет — ясно же, что по сути тому нечего сообщить.

Феликс долго будет ворочаться в постели, осмысливая прошедший день, пытаясь понять, не нарушил ли он своей верности епископу, а главное — Богу, и успокоится на том, что знание есть благо и что ничему дурному его Аристарх не учил.

Где-то неподалеку чуть дышало свинцовое море, жил огромный и богатый город: пиршествовал, совокуплялся, испражнялся, не зная ничего ни о Полноте, ни о Премудрости и даже не догадываясь, что он этого не знает. А здесь, в уютной и уже нагретой постели, было так приятно размышлять о тайнах мироздания, переживая тайный и немного стыдный восторг, что все они — теперь и его тоже.

Констант — вот несомненное светило Аквилеи, но Аристарх, похоже — сам свет.

Агон. Кто победит?

А ведь и сны бывают милосердны. Этой ночью Паулина была спокойна — в черном бархате ночи плыла она навстречу нескорому рассвету, сердце мерно качало живую теплую кровь, тело покоилось на ложе. Гора оставила ее, Гора умела ждать.

Метался на своей постели Феликс. И после долгого чтения молитв, после пересчета овец и козочек на зеленых холмах, после дыхательных упражнений, которым научил его еще в детстве один восточный мудрец — провалился, наконец, легким камешком в черный исцеляющий сон... Маленьким цветным камешком — в мозаику на полу. Нет, не в доме Мутилия, где он ночевал, где мозаики были простенькими, черно-белыми — бирюзовым стеклышком упал он на пол в доме Константа, на то самое место, которое часто рассматривал, глядя себе под ноги перед богослужением или, признаться честно, когда отвлекался во время самой службы. На то самое место, где не хватало одного камешка, и ему еще приходило в голову как-то само собой: куда делся камешек, откуда выбоинка в мозаике? Теперь этим камешком стал он сам, только в цвет немного не попал.

Он был камешком, стеклышком, он лежал себе тихо... Слева была Черепаха, справа Петух — символы добра и зла, вечные агонисты, никак они не окончат свое вековечное состязание, свой спор о каждой и каждом. Свой великий Агон, движущий души людские.

— Здорово, Петух!

— Давно не виделись, Черепаха?

Мозаика вдруг заговорила. А чего еще ждать от горячего сна, по самые края переполненного Полнотой? Ему оставалось лишь слушать, он был — камешек, молчаливый, послушный, вжатый в единый ряд с другими. И ничего, что немного не в цвет — оботрется, чуть посветлеет, и не заметишь потом.

— Что это на нас упало? — у Черепахи низкий, чуть медлительный, надтреснутый голос. Да так и должно быть, она же есть аллегория порока.



Он был камешком, стеклышком, он лежал себе тихо... Слева была Черепаха, справа Петух — символы добра и зла, вечные агонисты, никак они не окончат свое вековечное состязание, свой спор о каждой и каждом. Свой великий Агон, движущий души людские.

— Да этот... он часто тут стоял, на нас смотрел. Теперь мы им полюбуемся, — а у Петуха голос высокий, торопливый, одно слово — петушиный. Неужто так добродетель разговаривает?

Феликсу хочется спрятаться, но некуда.

— Да чего там смотреть... Так... Е-рун-да.

Черепаша явно разочарована. А вот Петух рвется в бой:

— Никакая не ерунда! Премудрость человек ищет. Полноту! Это ж надо понимать!

— И, думаешь, найдет? В Аквилее? У нас-то?

— Черепаша, я его тебе не отдам!

Петух петушился, но и рептилия не сдавалась. Так, притворялась, что ей не интересно:

— Да не больно-то мне он и нужен, Петух!

— А тогда чего ловишь его? На влюбленность эту свою дурацкую?

— Что влюбленность его дурацкая, согласна. Только не моя она. Его. Мне-то что? Парень молодой, вот у него гормоны-то и играют.

— Ты не заговаривайся, Черепаша, не знают они тут такого слова — «гормоны».

Феликс и правда слова прежде не слышал, но перевел с греческого сразу: «побудители». Это они о чем? О его вожделении к Делии, не иначе. Что за стыд: слышать, как мозаичные фигуры обсуждают тебя, живого, а ты, на самом деле, не очень живой, а стекляшечка бирюзовая.

— А ты, Петух, мне не указывай, какие слова говорить. Ты вот о чем подумай: кто заставил его считать свои вожделения грехом? Невротический комплекс кто ему тут привил? Всё ты со своими сверхценностями.

Феликс, кажется, понял и это — в самом общем смысле. И совсем ему тут поплохело: он о духовном да вечном, а они его как прыщавого подростка обсуждают.

— Ладно, не будем собачиться, Черепаша. В конце концов, это его сон, а он... ну, не знает он этих мудреных наших слов.

— Не в словах дело, Петух. За них вечно цепляется тот, кто не знает сути.

— А суть, суть она в том, — Петух уже почти кукарекал, — что мальчик наш тянется к свету и чистоте! И значит, будем моим!

— Тянуться-то тянется, — еще глуше бубнила, почти трубила черепаха, — а только живой он. А живому свойственно размножаться. Это ничего, что они яйца не кладут, как мы с тобой — размножаться им точно так же необходимо. Оно всё и перетянет, размножение. Самый сильный инстинкт. Моим будет.

— Нет, моим! Победит он природное влечение, воспарит над землей!

— Да что ты в него вцепился-то? — с какой-то вдруг примирительной интонацией ответила Черепаха, — у тебя их вон сколько. Отдай уж этого мне, пусть поразмножится.

— Да у тебя мало их, что ли, размножателей? — возмутился Петух, — их вообще немеряно! Жрут, гадят, кур чужих топчут... ну в смысле это...

— Так-то оно так, — не сдавалась Черепаха, — но этот больно слабенький. И потом... Ну смотри, задуришь ты ему голову своими добродетелями да полнотами. Войдет он в силу. И та-акого наворочает... Нет уж, лучше бурная юность, степенная зрелось, дряхлая старость. Дай парню хоть в молодости прозвенеть, как Константу этому!

— Не дам, не дам! — кипятился Петух.

— Ну и вырастишь ханжу и лицемера. Будет он у тебя от собственного тела, как от дерьма, нос воротить, и других к тому же приучать. Еще хуже ведь получится. Эти ваши изуверы людям знаешь как кровь попортят...

— Знаю, — неожиданно согласился Петух, — мы ведь с тобой высоко сидим, далеко глядим. Видим такое, чего им и не снилось.

— Ну вот сейчас разве что снится, — Черепаха явно настроена была на мир и согласие. — Передадим им привет из грядущего?

— Не стоило бы, — Петух бы точно поморщился, если бы петухи умели морщиться, — а вот предупредить стоит. Слышь, камешек... Ты не думай, что самый умный, самый светлый, самый такой раздуховный и что Истина у тебя в кулаке зажата.

— Лучше поразмножайся, — хихикнула Черепаха.

— А то и вправду много бед натворишь, — Петух не обращал внимания на ее однообразные подколки, — особенно когда империя одряхлеет и, умывшись обильной кровью свидетелей, сама станет нашей, попросит: научите, вразумите!

— О, тогда они развернутся, — чуть не застонала Черепаха, — потихонечку приберут к рукам власть, потом деньги, потом...

— Ладно, не будем о грустном, — сказал Петух тише и немного печальней, — а вот как ты думаешь, Черепаха, мы-то с тобой их переживем? Империю эту... ну, и остальное.

— Переживем, не сомневайся, мы вообще-то вечные.

— Нет, я имею в виду: не как порок и добродетель, а — как Петух и Черепаха. Забавно все-таки быть мозаикой!

— Зайкой, говоришь?

— Мозаикой.

— Ааа... туговата я на ухо стала. Больно много в него орут: мне, меня, мной! Да, я думаю, переживем. Не зайки мы ни разу. Ну, камешки слегка поизотрутся, конечно, да и пол потом заново смастерят...

— Когда на месте старого дома Константа воздвигнется мощная базилика, — мечтательно произнес Петух, — из светлого камня, с высокими колоннами, с новым мозаичным полом. В ней весь город станет возносить молитвы!

— И нас непременно изобразят, — поддакнула Черепаха, — причем на том же самом месте, потому что это круто. Это модно. Это современно — ну, для тех времен. Петух и Черепаха. Мы останемся на века!

— И даже когда...

— И даже когда поверят они во что-то совсем другое: в знания, в политику, в психологию, да в развлечения свои — придут сюда толпы людей с края земель, с берегов желтых рек, из хвойных безбрежных лесов, с заморских и пока неоткрытых материков. И будут говорить друг другу: «Вот, смотри, Петух и Черепаха! — Да где, не вижу? — Да вон, правее! — О, точно!» Сие будет, будет!

— И будут уносить домой наши изображения, показывать родным и знакомым... — мечтательно протянул Петух, — ведь наверняка

изобретут какие-то особые штуки, чтобы можно было запечатлеть да и унести. Человеческий ум не знает преград!

— Особенно насчет поразмножаться, — хихикнула Черепаха.

— Не занудствуй, — доброжелательно отмахнулся от нее крылом Петух, — и везде, везде, где будут наши лики, будут люди размышлять над добродетелью и пороком, пороком и добродетелью! А как они это назовут: искусством ли, религией, или еще как — неважно. Это ли не значит: войти в вечность?

— Ну, считай, уже вошли, — подвела итог довольная Черепаха.

Город плыл к новому рассвету под прерывистым дождем и зябким лунным светом. Колебались, как дыхание старца, тут и там язычки масляных ламп, пылали, как сердца влюбленных, факелы ночной стражи на хмурых улицах. Нависали над снами людскими громады домов, и сквозь камень и дерево пробивались души к нездешним лугам, где зелень и свет, где встретят их после перехода — кто говорил Митра, кто Осирис, кто Радамант, а кто и Христа призывал в посмертные судьи. А другие души неслись по рекам своих тревог к водопадам и водоворотам: страшились того, чему не суждено случиться, тянулись к избавлению от того, чего не избежать. А третьи валялись в колодец, где не было у них ни труда, ни горя, и было им лучше всех в этих снах — и всех тяжелей по пробуждении.

И юный богатый бездельник, и полуслепая старуха в нездешних заботах — в одной ладье с императором и мятежником, с книжником и красавицей, со всеми, кто на рассвете станет на одну ночь ближе к тому порогу, за который каждый не хотел бы ступать — и каждый однажды ступит.

День пятый. Душа живая.

А на следующее серенькое утро, когда Феликс вышел из дома вместе с Мутиллием, весь этот водяной город тек к театру, как ручьи после ливня — к реке. Снова накрапывал дождик, тот мелкий и нудный, который старается нам внушить, что весны не бывает на свете. Его особо и не замечаешь, но отвязаться от него невозможно, — он с тобой весь день, и уже к полудню промокло всё, что только могло, а все мысли лишь о сухости и тепле.

Но сегодня — о представлении! Люди как капельки выскакивали из домов, ручейки текли по улицам и впадали в реку, а река — поток праздных зрителей обоих плов, всех возрастов и состояний, не исключая даже рабов, стремилась к амфитеатру. Огибала его, дробилась, как у моря, на рукава: каждый к своему проходу, к скамейке, на которой выцарапаны, а у кого и вырезаны искусным гравером родовые имена. А чернь толпилась, пихалась, спешила рассестись на безымянных скамьях, занять места пониже, поближе к представлению. И все, все без различия возбужденно галдели: гадали, чем нынешнее представление будет отличаться от прошлого или расспрашивали, о чем там шла речь — только, умоляю, не говорите, чем кончилось, а то смотреть неинтересно будет!

Феликс скоро понял, почему представление было назначено на сегодня. Это когда-то, в древних Афинах, комедиографы соревновались друг с другом и давали каждое свое произведение только по одному разу, и всякая постановка была первой. Тогда и комедии были другими, как у Аристофана — комедиографы дерзко спорили с властями, высмеивали сильных и знаменитых, даже порой богов выставляли дураками. Что осталось от этого сегодня? Беззубые унылые истории про несчастливых влюбленных и всяких придурков.

И праздники, праздники — да ведь почти что каждый день посвящен у язычников какому-то божеству! Сами дни недели — день Марса, Луны, Меркурия, Юпитера и так далее. Вот и сегодня поминают в Аквилее какое-то местное божество, еще от венетов не то кельтов доставшееся, как его древнее имя, уже никто и не помнит точно, а зовут

все Веселым Козопасом (Феликс морщится, слишком уж на Доброго Пастыря похоже) или просто Сильваном, на латинский манер. Кто-то вроде Пана, и рожицу его с рожками можно порой увидеть в сельских святилищах. И оказывается, в этот день в давние времена отмечали его праздник, а где козы, там и Дионис, там и козлодранье, там и трагедии с комедиями. Сложно объяснить, почему, но местным это очевидно!

А ведь всё объяснялось проще: пришли накануне в Аквилею три торговых каравана из дальних краев, то-то будет поживы купцам! А договоры, как известно, хорошо заключаются под развлечения да пирушки. Словом, невозможно было пропустить козопасий день! Вот и статуйку его где-то откопали, не римской работы, простенькую, потертую, недорогой мрамор весь в трещинах — поставили перед театром, перед ней переносной алтарь с воскурениями. А что мрамор? Человек много прекрасней его, а порой и тверже. Феликс, заметив эту пакость, загодя сбросил капюшон зимнего плаща, чтобы не обнажать перед идолом головы. Подумал еще: так ведь нетрудно пересчитать, сколько в городе иудеев и христиан: это все, кто и в зимний дождь ходит без головного убора, избегая обязательным для всех жестом приветствовать капища.

Волосы сразу отсырели, скоро и тоненькая струйка потекла за шиворот — терпи, раз назвался христианином! И не такое люди терпели — свидетели за веру. К тому же очень скоро он вошел внутрь театра, а там над полукругом зрительских скамеек были натянуты плотные тяжелые полотнища из козьей (какой же еще быть в театре!) шерсти: сами они намокали, но воду не пропускали.

Места Мутиллиев были в пятом ряду, но сбоку — так, не самая знать, но и не последние люди в городе. И Феликсу как гостю семьи полагалось одно из этих мест. Он устроился на овечьей шкуре, покрывавшей холодный мрамор сиденья, огляделся — знакомых вокруг было не так уж много: череда лиц, известных всему городу, пара-тройка человек из тех, кого он встречал на собраниях, да так, по мелочи, знакомцы с улиц да с рынка. Делии не было. Константа, впрочем, тоже, но высматривал он скорее все-таки Делию.

Театр чуть волновался, как море под умеренным ветром.

— Здорово, отшельник, что я тебя сюда все-таки вытащил, — вполголоса сказал ему Мутилий. Причиной его прихода, он,

разумеется, считал свои пылкие речи в защиту комедийного искусства — да умел ли он вообще видеть в окружающем мире что-то, кроме слов, которые произносил, читал или слушал? Но Феликс не стал спорить.

А впрочем, для спора и времени не оставалось. На сцену вышел актер в узнаваемой маске Пана, или же Пролога — того, кто служит для зрителей проводником в мир представления, кто вырывает их из обыденности и вводит в сказку, чтобы затем скрыться с глаз, надеть другую маску и начать дурить их уже всерьез. Но сначала надо же их к этому подготовить!

— *Встречайте, люди, Козонас Веселый я...*

— Они написали новый пролог! — восторженно зашептал Мутилий, — совсем новый, не Менандров!

Соседи зашикали: не мешай слушать.

— *Встречайте, люди, Козонас Веселый я,
Кого так любят люди аквилейские,
Чей светлый день они сегодня празднуют.
А это что?*

(он показал широким, нарочитым жестом на сцену, расписанную в виде идиллического загородного дома)

*...А это домик в Аттике,
А может стать, домик-то не в Аттике,
А может стать, домик-то в Италии,
А может даже в Аквилейском округе,
Который нам знаком получше Аттики.
Мы вам представим детище Менандрово,
Но с нашим, итальянским украшением,
На современный лад. А в этом домике
Живет старик один угрюмый с дочерью.
Меня он прежде тучными чтил жертвами,
Да что-то перемена в нем заметная...
К добру ль она — смотрите, люди добрые!
А вот и рассудительный сосед его,
И юноша, что проживает в городе,*

*И увлечен он стариковой дочерью.
Как раз вот тут, вот в этой самой рощице
Любились, было дело, в Тиберналии⁵⁹...
Итак, старик и этот пылкий юноша
Идут сюда и по пути беседуют.
А мне пора к моим вернуться козочкам!*

И пока он, забавно выкидывая коленца, уплясывал в сторону скены, откуда-то сзади, со стороны зрителей донеслось призывное:

— М-еее! Ме-еее! Я ко-озочка! Попаси-иии меня-ааа! — низким мужским басом. Безобразничали ли зрители, или таков был творческий замысел, разобрать не удалось, но хохот грянул. Феликс поморщился тупой и неприличной шутке.

На место Пана, он же Козопас, он же Пролог, уже выходили двое: рассудительный Лахет и пылкий влюбленный Херей. Они обсуждали, как нелепо ведет себя Демарх и как важно убедить его, пусть даже при помощи обмана, выдать дочь за Херея, который ее любит на самом деле, в отличие от пустышки и балабола Никандра.

Было как-то особенно приятно (и немного стыдно за эту приятность) думать, что толпа смотрит на эту пошлость и видит только плотское, только, как во вчерашнем нелепом сне, «размножение». И даже Мутилий, ходячая библиотека, может едва ли не всю комедию прочесть наизусть — но ведь он совсем не понимает, о чем в ней на самом деле речь. Здесь и сейчас, в этом амфитеатре, кроме Аристарха и Феликса, и может быть, актеров, да и то не всех — многие ли понимают, многие ли вообще способны это понять, оторвавшись от животного блеяния?

Но вот Херей отправился восвояси, а навстречу Лахету из дому вышел Суеверный Демарх. Разговор начался, как обычно, с обмена новостями...

— *Что может быть со мной, Лахет, хорошего?*
— *А что с тобой?*
— *О, мой Создатель праведный!*
На правом башмаке я ремешок порвал.

⁵⁹ Тиберналии — один из римских религиозных праздников, отмечается в мае.

— Ну, так тебе и надо, бестолковщина!
Уж он давно истлел, а ты все жадничал
Купить другой...

Создатель? Так и было у Менандра — неужели? Но кажется, никто ничего не заметил. Феликс с Мутиллием сидели в амфитеатре, как два рыбака на берегу реки — только Мутилий вылавливал из потока комедии редкие грамматические формы и особо удачные обороты речи, а Феликс... как бы это назвать поточнее? Тоже слова, но те из них, которые проводят грань между язычеством и единобожием, праведностью и нечестием, Петухом и Черепахой. И вот петушиным словом забавляется, как мячиком, черепаха...

А действие развивалось: соседи поспорили, благоразумный Лахет ушел, покачивая головой, зато явился пустышка Никандр, стал расхваливать себя, и только Феликс успокоился, решил, что ему почудилось, как вдруг чуждое словечко выпрыгнуло снова, как рыбка на плёсе, а за ним и другое, и третье:

— Я нынче побывал на евхаристии,
И в нашей я общине самый праведный!

Что? Вот тут уже точно не показалось. Никандр в сегодняшней постановке — христианин? Или притворяется? Или слово «евхаристия» употреблено в каком-то ином значении, ведь это значит просто «благодарение»? Ну и мало ли какая у них там община, всякие же бывают, вон у митраистов тоже свои собрания.

А перед зрителями уже кривлялись два раба, неразлучная парочка, Дав с Сосией. Сосия рассказывал Даву, как непроходимо туп и упрям его хозяин, как принимает всякий чих за дурное предзнаменование, как превратил в кошмар жизнь всего дома. Зрители гоготали — всё, всё было слишком узнаваемо!

Но мало того, оказывается...

— ...и новым он увлекся суеверием,
Подхваченным откуда-то из Сирии:
Читать он стал замызганную книжицу,
Написанную на ужасном греческом.
— А что же говорится в этой книжице?

— Да разное, но всё одно — нелепое.
Мол, сотворил бог землю, а земля потом
Произвела животных.
— Мне не верится!
— Душа живая, мол, вот так явилась
И сразу приступила к размножению.
— А что ж земля нам не рождает кроликов,
Иль жирных куропаток, иль баранчика,
Лишь червячки после дождей заводятся?
Уж мы попиروвали б!

Феликс не верил своим ушам, а Мутилий довольно гоготал и не забывал на Феликса поглядывать. Тут уж никаких сомнений не было: два мерзких шута пересказывали повествование самого пророка Моисея ни о чем ином, как о сотворении мира! Но дальше — больше:

— Это ладно бы,
А вот еще он вычитал в той книжечке:
Распяли там кого-то в этой Сирии,
И вот теперь наступит царство божие.
— Авось нас куропатками порадует!

Каменные стены театра словно сдавливали Феликсу грудь. Публика свистела и притопывала. Захотелось вырваться наружу, вдохнуть свежий влажный воздух, не слышать кощунств... но как это будет выглядеть? Оттаптывая другим зрителям ноги, он будет рваться к выходу, вслед будут улюлюкать и свистеть еще громче, тыкать пальцами: вон, вон один из этих суеверцев!

Нет, насмешку над собой он бы счел назойливым гудением мухи. Но над Господом и над Писанием насмехаться он не позволит никому. Аристарху он выскажет всё, при первой же возможности. А эта толпа невежд и гупцов... что ж, римлянам из его рода не впервой приходится встречать врагов открытой грудью и смелым взором. Он не покажет им свою спину.

А представление текло своим чередом к заранее известному концу: Сосия и Херей обсуждали свой хитрый замысел, переодевали Дава восточным прорицателем, потом представляли его Демарху. Довольные

зрители ржали, Мутилий и по коленкам себя иной раз хлопал, и кощунство, казалось, можно было надежно забыть. Ну просто сделать вид, в конце концов, что ничего этого не звучало под промокшими полотнищами театра, а если звучало, так он не слышал, а если слышал — не внял глупостям. Не проще ли так и сделать, в конце-то концов?

Но вот то самое место, которое они разбирали с Мутилием по свитку. Демарх, которого переодетый Дав так удачно напичкал туманными приметами и намеками, все же заподозрил подвох:

— *Почудился мне что-то запах луковый,
И чесночком несет от прорицателя,
Как будто повар... слышу я знакомое
В его гнусавом говоре...*

И Лахет тут же повалился на колени, потом лбом в пол, стукнулся своей дурацкой маской о камень (и откуда-то сбоку — удар медных тарелок, а вокруг — волна ржання):

— *Владыка наш!
Тебя послали, верно, к нам апостолы,
Над нашим градом сделали епископом,
Войди скорее в дом...*
— *Да кто это?*
— *Епископ новый, свыше нам назначенный,
Почти его скорее послушанием!*

И теперь падает на колени, лбом бьется уже сам Демарх (и снова тарелки, и снова ржач):

— *Да я... да кто... да нет в дому ни крошечки,
И трапеза, увы, не приготовлена...*

Всё решено, свадьба неминуема. Развязка. А Феликс сидел ни жив, ни мертв — но как же над ним надругался Аристарх! В таинства его посвятил, как же... а потом просто взял и поиздевался надо всем, что ему дорого, что спасительно для человечества, что правильно и хорошо. А он-то, Феликс, дурак дураком, слушал, развесив уши, еще воображал себя одним из немногих избранных...

А море зрителей бушевало, рукоплескало, вопило, благодарило актеров... И он тонул в этом море.

Людская река после представления потекла вспять, распадаясь на множество рукавов, возвращая бывших зрителей, а теперь горожан на свои места — кого домой, кого в мастерскую или гавань, кого за город, в поля. Но многим не хотелось расходиться — люди останавливались подле уличных торговцев снедью — вроде как перекусить, а те недовольно бурчали: «Заказывайте уже или проваливайте, не толпитесь мне тут!», — но на самом деле охотно прислушивались к обсуждению, сами включались в разговор:

— А как он его!

— Отли-и-ично! Поделом дурню!

— А что это у них там было такое про Сирию?

— Так это ж христиане! Не знаешь, что ли? Это суеверие оттуда занесено.

— А-а-а...

Феликсу, напротив, хотелось провалиться. А еще и Мутилий зудел под ухом со своими перфектами, вот удивительно, как умный человек не понимает самого-самого главного!

Феликс наскоро отделался от него, сославшись на срочные дела, — и вдруг взгляд его выцепил лысую голову на сутулых от вечной работы плечах. Где он видел его прежде? А тот деловито объяснял собравшимся:

— Да знаю я их, христиан. Ничего, нормальные люди, добрые. И всё врут, будто поклоняются они распятому ослу...

— Ослу?

— Ну да. Дурни придумали, дурни повторяют.

— А говорят, у иудеев в их святилище тоже ослиная голова была в самом нутре — ну, пока Траян не сжег.

— Веспасиан⁶⁰.

— Ну да, ослиная...

— Да вранье это всё, — бурчал низенький, — от безделья забаву придумают да и повторяют. Чушь. Я их хорошо знаю.

— Да ты сам-то — не из них?

⁶⁰ Военачальник *Веспасиан* (впоследствии римский император) в 70 г. н. э. после долгой осады взял и разрушил Иерусалим.

— Да куда-а мне... Зеновием родился, Зеновием помру, слава Зевесу.

И Феликс сразу вспомнил. Это же тот самый сапожник, у которого живет Паулина! Его словно ошпарило: этот сатир мохноногий сейчас про нее всё выболтает, а на нее и так донос собрались писать, а после представления, когда все только о христианах и говорят (так ему казалось, ведь юности свойственно считать себя центром внимания).

— Зеновий, дело есть к тебе, — он подхватил его под локоть, — срочное...

— А, здравствуй, здравствуй, — нехотя оторвался тот от беседы.

— Понимаешь, сандалий у меня почти новый порвался, да так порвался, что ремешок выскочил из крепления, но не совсем выскочил, ты посмотри, поправь.

— Погоди, покажи...

Феликс молчал какую-то чушь про обувь, утаскивая его подальше от толпы, а на тихой улочке сказал:

— Ты прости, соврал я. Просто... ты не трепись много про это, ладно? Опасность Полине грозит (так и сказал «Полине», по-простонародному, чтобы быть к нему поближе).

— Да я что? Я ж о ней ни полсловечка. Я так. Ну ладно, не буду...

И добавил дружелюбно:

— А ты заходил бы. Она гостей любит, ждет тебя. Скучно ей, поди. Да хоть сейчас вот — пошли бы, а? Гостинчика ей прихвати, у нас дома-то с разносолами негусто.

И Феликс понял, как он прав. Паулина — вот перед кем он хотел выговориться, возмутиться и утешиться. С Константином обсуждать его старого друга было бы невежливо, да и как пересказать всю ту наглую клевету про епископа? Поди, недоброжелатели сами уж растрезвонили, не ему вставать в их ряды. А остальным... им лучше не показывать своей слабости.

Совсем скоро они вдвоем с Зеновием ввалились в дом, неся несколько свежих пирожков (не сирийских, нет!) и кувшин вина — по дороге купили. Паулина и в самом деле обрадовалась, широко и просто улыбнулась, словно только его и ждала:

— Здравствуй, Феликс! Как представление? Понравилось?

— Нет! — почти выкрикнул он, — я об этом тебе и пришел рассказать! Издевается он над нами, этот Аристарх!

— Да что ты? — как-то неестественно удивилась она, — подожди, я стол накрою, вижу, ты гостинцев принес...

— Да не надо стол, это вам с Зеновием.

— Как же не надо? Надо угостить тебя, мальчик...

Он почему-то не обиделся на «мальчика», как бывало обычно. А она поняла, что не до застолья ему:

— Пойдем внутрь, расскажешь.

Завела его в свою комнатуху, посадила на кровать, сама села рядом — и из Феликса, как из лопнувшего бурдюка, хлынул поток обид. Немного рассказал он о вчерашней беседе с Аристархом, не хотелось признавать, что обвели его вокруг пальца, как малыша, поманили сладостью, да только нос ей и помазали. Но подробно и в красках описал сегодняшнее унижение.

— Это ничего, — сказала она как-то отстраненно и спокойно, — если они над нами смеются, значит, не будут пока убивать.

— Убивать?! — Феликс негодовал, — да вот так оно и доходит до кровопролития...

— Нет, — очень твердо возразила она, — запомни: смех устраняет гнев. Когда им весело, нам безопасно. Это такая разрядка. За веру сейчас убивать не будут, это точно. Хорошо сделал этот Аристарх.

— Хорошо?!

Но от слов ее веяло каким-то таким холодом, такой неподвижностью, как от мраморных скамеек театра. Пыл его остывал. Да в самом деле, разве не обещал Господь, что мы будем гонимы и преследуемы? Ну, в театре насмеялись, великое дело. В иных театрах и свидетели кровь свою за веру пролили, и Паулина могла при том быть...

— Скажи... ты видела когда-нибудь, как это бывает? Как убивают за веру?

Она не ответила, и это означало «да». Молчание было звонким и тягучим. Он не торопил: если не хочет, пусть не рассказывает. Наверное, о таком не всякому можно говорить и не на всякий час.

— Видела?

— Мальчик, ты точно хочешь это знать?

Он облизнул пересохшие губы:

— Да.

Молчание длилось долго, но он понимал, что это не отказ. Ей нужно было собраться с силами.

— Тем вечером пел соловей. Оглушительно, с переливами — где-то совсем рядом, в ближней роще. Была ведь весна, в тех краях, далеко отсюда, в горах у реки много водилось у нас соловьев, малых птах... Тоже ведь — души живые. И как по весне греют сердце их любовные песни, под вечер, когда девушки выходят воды почерпнуть и парни плятятся во все глаза!

А эти — они пришли днем, эти воины, и пели птицы, но не было трелей и переливов соловья, горлышко его отдыхало. Эти собрали всех жителей нашего селения. Мы сначала не ждали ничего дурного — мы ведь исправно платили подати, вот уже много лет нас никто не трогал. Но, кажется, в этот раз кому-то приглянулась наша долина, или, я не знаю, выслужиться захотелось перед начальством...

— Это было там, где ты жила прежде?

— Да, в нашей долине, у нашей речки, среди наших гор. Но я запретила себе туда возвращаться, даже во сне. И знаешь, получилось соблюдать собственный запрет...

— Я не настаиваю...

— Ты спросил про другое, и я расскажу тебе. Эти пришли, нас собрали, сказали: принесите жертву Юпитеру и гению императора, и всё будет в порядке. Их не волновало, кому и как мы молимся, когда одни, но во всем должен быть у них порядок. Просто жертва, сказали они, ничего особенного — горсть ладана на алтарь. Но только от каждого лично. А потом можно будет угоститься жареной свининой, роскошная такая трапеза, сельский праздник. Мы объясняли, что ежедневно молимся о здравии Цезаря Публия Элия Траяна Адриана Августа и всего его дома, но только просим не принуждать нас к тому, чего не можем совершить. А они даже и не сердились, этот их главный — просто предложил хорошенько обо всем подумать...

— Просто подумать?



— Тем вечером пел соловей. Оглушительно, с переливами — где-то совсем рядом, в ближней роще. Была ведь весна, в тех краях, далеко отсюда, в горах у реки много водилось у нас соловьев, малых птах...

— Да. Нас тогда собрали на лугу у реки, всех жителей селения. Даже маленькие дети были с нами — плакали, просились домой, хотели покушать. Никого не отпускали, детей только: в кустики сбегать и обратно. Не ругали даже никого, не били. Поставили статую Юпитера, статую Цезаря, два походных алтаря. Мертвый мрамор. Свинка была на привязи, бедная, не понимала, что ей грозит. Мы-то понимали. Кузнеца нашего отправили за углями и инструментом. А топоры и пилы у них были с собой, даже искать не пришлось.

Знаешь, как быстро работают римские солдаты! Вроде, воевать учатся, а на самом деле с любой работой справятся, все они как пальцы на одной руке. И вот уже через пару часов посередине луга, прямо перед статуями с алтарями, стоял широкий, прочный стол. А мы смотрели на него.

«Вот, — сказал нам их начальник, — выбор простой. Вы приносите жертву и сразу садитесь за угощение, места хватит всем. По этому случаю наверняка найдется и в вашем сельце, чем закусить, что выпить, а мы сами, при вашем участии, принесем в жертву хорошую, откормленную свинью во имя Юпитера Капитолийского и во славу Цезаря Адриана. Разделаем тушу, часть на алтарь, остальное на стол, насытитесь до отвала. Или — тут он показал на инструменты кузнеца, на разожженную жаровню, — разделявать будут вас самих. Выбор за вами, а места, повторюсь, хватит всем».

Феликс молчал, пытаясь представить себе весенний вечер, долину среди гор, орудия пыток и толпу простых крестьян, среди которых он не мог оказаться уже просто потому, что родился в совсем другой семье... Как это несправедливо!

— И тут защелкал, залился не ко времени соловей. Он звал подругу, а может, знакомился с соседями... Но мы были уверены — это он для нас, это нам привет передает соловьиное горлышко, малая живая душа. Мол, всё это ненадолго, а потом — золотое горлышко вечности проглотит, как росинку, наши души — и не будет уже ни боли, ни печали.

Этим бы, пожалуй, начать со слабых, с самых малых — тогда, глядишь, матери и согласились бы хоть горсть ладана бросить на угли. Да ведь и они не звери, малышей мучить кому же охота, они же воины, привыкли лицом к лицу с мужами... Взяли нашего старшего, пресвитера.

Велели: или ладан — или на стол. Он поклонился нам всем в пояс, попрощался и...

Знаешь, я слушала потом только соловья. Только его, и пел он, не умолкая, и очень скоро только и его было слышно — слабое было у нашего старшего сердце, не выдержало. Или милость ему была такая дана...

А потом... они знали, они ведь откуда-то знали, что у него сын в нашем селении, и знали, кто. Был, наверное, донос. Как бы они без доноса сумели... Сын — ему было пятнадцать. Всего пятнадцать. Крепкое, здоровое сердце. Запах горелого тела... и почти не было криков. Почти. Последнее, что он сказал — прохрипел, проронил, что вытолкнуло его горло, пока еще мог он говорить словами — это... Я не смотрела туда, я слушала соловья, я думала о наших горах и реках. О соколе, который парил над долиной, о том, какой будет ночью серп луны, о том, как деревья будут шелестеть на ветру после нас. Как новая трава покроет нынешний ужас.

А потом поняла: ему нужен мой взгляд. Последний. Иначе не уйти спокойно. Я подняла глаза... И он только просипел: «мама, мне не больно». Всегда был такой: упадет, расшибет до крови коленку, потрет и дальше бежит... Вот и вся история. Вот и всё. Тело его там, под камнями, душа его... мне чудится, хоть и не так написано, что в соловьином посвисте говорит он мне про боль и смерть, которых больше нет. Миновало столько вёсен, столько поколений соловьев сменилось, а песня та же, и всегда это новая песня...

Феликс боялся взглянуть ей в лицо — судя по ровному, бесслезному голосу, оно было страшным.

— А еще... ты же хочешь знать, наверное, почему я осталась жива, почему мы все вообще остались тогда живы? Я и сама хотела бы это понять. А было вот что, мне потом рассказали, я уже ничего не слышала больше, даже соловья, кроме этого «не больно», не видела, кроме его глаз, не помнила себя дня три или четыре... Когда он... когда с ним всё, то... там был воин один со шрамом через все лицо, еще хуже, чем у меня. Такой, знаешь, матерый волк, видно, с варварами сходилась не раз грудь в грудь... Он, говорили мне, снял тогда спокойно свой шлем, положил на траву, меч отстегнул, тоже положил, и ровно так сказал: «я —

христианин». Он признал себя побежденным. Они это умеют, лучшие из них.

И всё, они ушли. Этот их главный дал приказ, и... Собрали эти свои алтари, статуи, вернули кузнецу инструмент, подобрали с травы меч и шлем — и ушли строем, тотчас, на ночь глядя. Небывалое... он, наверное, боялся, что они все у него взбунтуются. Я даже не знаю, что дальше было с тем воином. И не вернулись — ну, до тех пор, пока я сама не ушла. Дней через десять наши отправили сюда, к епископу, нового пресвитера, как они его называли. А я... я хоть в Аквилею, хоть в сады Гесперид⁶¹, только бы не видеть...

Муж и сын — они там, и на небе они, и в соловьином каждом посвисте. И доченька, но она еще прежде, она от болезни. Живые души. А я здесь. Жду чего-то... И не хочу об этом говорить. Но тебе надо, наверно, знать, раз ты спросил. Давно меня об этом не расспрашивали.

Слов у Феликса не было. Были обьятия — давние, детские обьятия: с разбегу прижаться к маме, замереть, стать единым целым, отдать все свои смешные обиды. Обьятия, которых никогда уже не будет с его собственной матерью. И уже никогда, никогда он никому не скажет: «надо мной посмеялись, меня оскорбили». Господи, ты это видишь?

Он защитит ее от позорной мучительной смерти. Он пока не знает как, но защитит, если надо — словом, если надо — златом, а если надо — мечом. Этой весной запоеет для нее соловей, сладкой тоской разольется его песнь над согретой вечерней землей, ибо смерти больше нет и не будет, и боли нет, а есть — душа живая. Душа живая.

61 Сады Гесперид — одна из самых удаленных областей мира в др.-греч. мифологии.

Эписодий. Как это бывает?

Снится Паулине новый сон. И он не страшнее яви воспоминаний. Она снова на Горе, и кажется, она сошла с того самого проклятого заколдованного места... хотя так о Горе говорить нельзя! Но она про себя говорит. И ничего.

Синие длинные тени. Вечереет. Скоро упадет на землю прохлада, скоро можно будет свободно дышать, скоро отдохнут изнуренные камни, и люди. Старец — он на прежнем месте, рядом, на одном из этих камней, похожем на прежние, хотя место иное. Смотрит, молчит — как всегда. Словом, эписодий — еще один эпизод в ряду других, маленькая сценка той трагикомедии, которую разыгрывает она сама с собой во снах.

— Здравствуй, — приветливо здоровается она со Старцем, — соскучился, поди.

Он не отвечает, но тихо улыбается. Оценил шутку.

Вечер никак не наступит в этом мире, жара оглушает, но она притерпелась, и к тому же здесь, в ложбинке, есть немного тени от нависающих скал. И тень растет, тянется к ней, словно жалеет...

— А девочка где же?

Он неопределенно машет рукой в сторону — мол, отошла. Взгляд следует за взмахом его руки, и — как она раньше не замечала? Там довольно ровная площадка, там наверняка есть вода, потому что есть зелень, там какой-то шалаш в тени невысокой пальмы. Пойти бы туда, вдоволь напиться, оглядеться, поговорить с девчонкой — нехорошо они в тот раз расстались...

Но невежливо будет бросать Старца.

— Тебе, поди, со мной тоже поднадоело? — запросто спрашивает она. Слово «тоже» само сорвалось с губ, не хотела она его обижать.

А он только улыбается уголками губ. Не говорит ничего — но отвечает.

— Почему-то нас троих хочет Гора. Только втроем пускает. И я вроде как вас тяну...

— А ты не тяни, — приветливо говорит он.

— А попробую, — отвечает она. — Откуда у меня эти запреты? Сейчас паренек этот просил о том рассказать — я же запретила себе вспоминать... Как они меня терзали, местные, когда я только сюда, то есть в Аквилею, приехала. Расскажи, да перескажи, да великие герои веры, так утешительно... Утешительно им... Тот же театр. Почему люди бывают жестоки? Неосознанно жестоки с теми, кого вроде любят?

Старец снова молчит. Она уже поняла: это значит, что ответить нечего, вопрос дурацкий, задача не имеет решения.

— Невнимательны они просто, — продолжает она, — ну да ладно. Я вот нынче нарушила свой собственный запрет. А еще я запретила себе возвращаться в те самые места, даже в памяти, даже во сне. И все равно с тобой — возвращалась. Сны, они такие... Я же всегда могла ими управлять, могла попросить, чтобы приснилось что-нибудь особенное, могла перенестись куда-нибудь. А Гора лишила меня силы.

— Ты лишила себя силы, — вторит Старец, будто соглашается, а не спорит.

— Ну, или я. Я вот сейчас... прямо бы в ту долину... куда нельзя, где я была и уже не буду счастлива.

— Будешь, — соглашается Старец.

— А попробовать?

— А попробуй.

Шаг, другой, обычный, не тяжелый шаг в сторону той площадки, той пальмочки, того шалашика, куда убежала девчонка, — и вот уже Гора дрожит, распадается, а она идет, юная и босая, по траве у горной речушки, прекрасней которой и не бывает на свете, и видит: видит каждую отдельную травинку, видит листик на буковом дереве вдали, видит каждое перо парящего сокола и каждый камешек в речке. Слева и справа встают сизые печальные горы, исхоженные ногами крепких мужчин, ползут в разнотравье невидимые змеи, утробно похрюкивает в дальнем перелеске кабаниха с поросятами, лакомится лесной малиной хозяин-медведь, и всё это ведомо, слышимо ей. Колеблются под горным ветерком высокие травы, словно волнуется море, пробиваются по древесным жилам соки, галдят ошалелые птицы — в этом мире царствует весна. И соловьи. Соловьи повсюду наливаются счастливой

тягучей тоской о жизни, которой здесь — с избытком, которая — через край. Только — ни души человеческой вокруг. Неужели опустела их долина? Неужели *эти* — потом вернулись, всех перебили? И никого с собой не привели?

Или нет... Есть одна душа, да, именно душа: на цветущей поляне, высоко над долиной, куда и не хаживала она, пока в долине жила, и ноги сами отрываются от земли, она летит, чуть задевая высокие травинки, поднимается к нему, к родному...

Он сидит на траве, внимательно читает развернутый свиток. Ей он ничуть не удивляется, приветствует, словно вчера расстались:

— Здравствуй! Здорово, что выбралась сюда, к нам! Смотри, что я тут достал: послание Павла к Лаодикийцам⁶². Потрясающе! Нигде прежде не видел, ты только послушай...

— А где наш сын?

— Ну что ты волнуешься, он же уже взрослый. Здесь, здесь где-то, мало ли дел у парня! Вернется — свидитесь. И дочка где-то здесь играет, не волнуйся.

— А что это здесь — рай?

— Ну можно и так сказать. А можно — наша долина. Лучшее, что мы запомнили про нее. Крупинки прожитого в ней счастья, собранные воедино.

— Так это и будет — рай?

— Наверное. Ну ты послушай...

Он начинает читать, как бывало когда-то, его глубокий бархатный голос проникает в самую глубь ее сознания — но слова, как поток горной реки, проскакивают мимо, не задерживаются в сознании. Павел пишет что-то невероятно важное о том, как и зачем нужны собственные усилия, если мы спасены одной благодатью. И в каком смысле женщина должна «молчать в церкви», если нет уже ни мужского, ни женского, но всё и во всём Христос. И о том, нужно ли покорствовать властям, носящим меч, если этим мечом рубят они совсем не те головы, какие бы следовало. Всё то, что Павел оставил неясным, о чем будут спорить потом тысячелетиями — всё это мягко, просто, ясно объясняло его Послание к Лаодикийцам, и пока она слышала слова, не было ни

⁶² Это послание было написано, но до нас не дошло.

одного затруднения. А как только слова переставали звучать — не помнила ни-че-го.

Он всегда любил книги, только их было мало под рукой. Он так много говорил с ней о Павле, прочитав всего три или четыре его письма, другие в этой глуши ему в руки не попадали. Он-то и назвал ее Паулиной, отбросив прежнее языческое имя, которое рядом с ним подходило ей не больше, чем бабочке — шкурка гусеницы. Так и осталась Паулиной.

— Ты поняла? Ты поняла, как он это, а? — радостно и возбужденно вскакивает он на ноги, бережно отложив свиток, прижимает ее к груди.

— Стосковалась я по тебе... Соску-училась.

— Так и я тоже! Но ты поняла всё теперь? Разъяснил ведь Павел, ах, великий Павел! Что бы мы делали без него! Евангелие — величайшая книга, но в ней не хватает систематичности. А пришел Павел — всё расставил по своим местам, выстроил стройно и ясно! Ты же поняла?

— Я понимала, пока ты читал, — признается она, — а теперь уже всё позабыла. Я как глупая рыбка.

— Смотри, я вкратце изложу. Дело в том, что...

— Где наш сын?

— Он умер, — простодушно отвечает тот, — ты же сама видела. Но чем Ирод сильнее, тем верней, неизбежнее чудо, — мне говорил об этом один чужак, мы тут с ним как-то встречались. Верно сказал.

— И ты тоже умер, — соглашается она. — И доченька.

— Да, она от дифтерии, — уточняет он тем же ровным голосом, каким говорил про Павла, — ведь антибиотики еще не изобрели.

— Я не знаю этих слов, — она обескураженно прижимается к родной теплой груди, почти проваливаясь в нее...

— Ну, это неважно, в общем, у нас еще не научились тогда это лечить. Но однажды...

— Почему?

— Что почему?

Она чуть отстраняется, смотрит ему в лицо немного снизу, получается — исподлобья:

— Почему она умерла?

— Видишь ли, есть особые такие живые существа, мельчайшие, мы их не видим, они проникают в наше тело и начинают...

— Я не о том. Я понимаю, за что умерли вы с сыном. Я не скажу ни слова против, кто я такая? А вы великие, вы святые. Но девчушка... за что она задышалась? Почему бредила и плакала? Прижимала к себе игрушку? Кому это было надо, зачем?

— Яко сильные и молодые умирают... — задумчиво, нараспев произнес он.

— А не должны, — резко, злобно выкрикнула она, — вот меня — берите! За что ее, куда ее? Как, как Он допустил?! Забрал вас — не спорю, вы Ему нужнее. Но почему не оставить было ее мне — вынянчить, воспитать, обучить нехитрому женскому счастью? Сплясать на ее свадьбе, обрадоваться внучатам, слышать, как снова звенит под небом юный голос, так похожий на мой, видеть свою улыбку на детском лице... почему не оставил Он мне этого? Справедливо ли? Что там пишет твой Павел Лаодикийцам?!

— Паулина...

— Даже не в этом дело, — мягко отвечает она, — а просто... всю жизнь идешь-идешь куда-то, как волхвы эти шли к Младенцу, подходишь к пещере, а там...

— Ни животных, ни яслей, ни той, над которой — нимб золотой. Знакомо.

— Это тоже твой чудаков говорил? Да что он понимает...

— Бывает такое, да. Всё в жизни пусто. Всё зря, всё ни о чем и ни к чему. Эта наша вера, молитвы, обряды — не самообман ли? Не сказка ли о том, что когда-нибудь нас всех обнимут и утешат, а пока надо терпеть? А вдруг... Я тогда заехал почти случайно на этот Прежний твой Остров, вроде по торговым делам, а на самом деле бежал от тоски и сомнений. Глухая ночь. Одиночество. Пустота. И вдруг — на дверном сквозняке из тумана ночного густого возникает фигура в платке.

— И...

— Смотришь в небо.

— И видишь — звезда.

Эти слова сами родились в ней, но никакой звезды нет — она проваливается на ровном месте, летит сквозь зеленый лужок в серый сумрак, в воронью черноту, в зрак преисподней. Изгнание из рая. Она, наверное, задала не тот вопрос. А какой же еще она могла задать?

Звезд в этом мире нет. Не преисподняя, просто ночь, глухая, беззвездная ночь на Прежнем Острове, где не была она еще Паулиной, где жила она, как придется. Небо затянуто пепельными облаками, но лунный свет пробивается сквозь них — и нужно время, чтобы глаза притерпелись к полутьме после сияния дня. Но ночь не темна, она в разрывах дальних факелов, и пение доносится оттуда, где огоньки света плещутся между деревьями.

Она уже понимает этот язык, было много времени его выучить. Но слова старинной песни не вполне ясны и самим поющим. Там два хора: девушки и парни. Паулина... нет, Эарида, в этом мире она носила такое имя! — Эарида знает эту песнь. Она не о юности, не о влюбленности, не о прохладной летней ночи. Она — о возвращении. О том, как Солнце по утрам приветствует наш мир, о том, как Луна стережет небо по ночам, о том, как предки из высоких своих жилищ взируют на свой народ, чтобы вернуть хлеб на его поля, стаи рыб в его сети и здоровых младенцев в лоно его женщин.

Священная ночь летнего солнцеворота. Это праздник для юных: в эту ночь можно всё... или, точнее, в эту ночь для всего свои правила — для всего, что в другие ночи под запретом. Говорят, в эту ночь зацветает даже папоротник, и кто сорвет его цветок, обретет волшебную силу. Весь вечер они поют песни-загадки, где птицы и рыбы, полевые травы и простые предметы обихода начинают означать что-то совершенно другое, одновременно и великое, как тайны мироздания, и игривое, как любовные ласки под покровом ночи.

Ночью пьют вино и разжигают костры, пляшут вокруг них, взявшись за руки, и попарно перепрыгивают, парень с девушкой, и снова пьют вино, и кто перепрыгнет, не разомкнув рук, не опалив одежды — те будут вместе и в эту ночь, и много ночей подряд, ибо так решили предки. И пьют вино, и плавают голышом по лунной дорожке, и снова пьют, и пьют, и уходят в священные рощи, и творят предкам новых потомков, и малыши, родившиеся на исходе зимы, получают

имена этих предков и считаются блаженными детьми Солнцеворота. Ибо как иначе проверить, что девушка способна родить, что они с парнем подходят друг другу и что, самое главное: именно через них хотят предки вернуть своему народу его счастье, сами возвращаются к нему?

Но для нее нет хода на эти празднества. Она бы сказала: «потому что христианка», — но все эти долгие восемь лет ее христианство хранилось словно бы в глубине сундука с приданым, которого у нее не было, — а потому оставалось только молчать, соблюдая, что скажут, и не прекословя тем, кто приданое ей дал. Нет, потому, что была она мужняя жена, взятая не в ночь солнцеворота, — не оттого ли гnevаются на нее предки этого народа, не оттого ли опустела, иссохла ее утроба? И сейчас, когда она вдова, когда ей совсем немного лет, — кто же возьмет ее за руку, кто поклонится с ней Огненному Отцу с ликом костра и Бездонной Ночи, чтобы вымолить у них дозволение на счастье? Нет дураков. На этом острове она никогда не будет своей.

Когда ее мужа провожали на Холме Ушедших, ее спросили: «Женщина, ты пойдешь за своим господином?» «Нет», — ответила она, как отвечает каждая женщина на первый вопрос, и в другой раз ответила «нет», потому что лишь третий ответ — настоящий. Но седая Волхвунья, жрица всех женщин селения и сама воплощение древнего божества, не задала этого вопроса в третий раз. Прочитала в ее глазах всё тот же ответ? Но она сама не знала еще, что скажет. Или, вернее, Волхвунья увидела, что глаза у нее другого цвета, что плещет в них нездешнее море, что если и уйдет она, то не к покойному господину, а в свою, неподвластную ему вечность. И решила: пусть живет. Бывает ведь и так, что младшая жена вождя не уходит вслед за ним на Луга Блаженных оберегать свой народ и возвращать ему удачу — вот такие времена настали, куда катится этот мир? Погребальный костер зажегся без нее, а ей отныне было имя «Та, кто отказалась вернуться».

И этой пепельной и песенной ночью она стучится в единственную хижину на окраине деревни, где не празднуют Солнцеворот. Там ночует гость деревни, заехавший по каким-то торговым делам, гость, с которым не положено общаться честной вдове, но от честности ее и так уже ничего не осталось. Набрасывает на голову платок, чтобы не быть слишком заметной, идет мимо гула песен и пятен света, мимо радости

вечного возвращения, мимо мира, в котором просто жить и нетрудно умирать, стучится в низкую перекошенную дверь, и когда он открывает, говорит одно:

— Забери меня отсюда, ради Христа. Я не от этих богов.

Так впервые заговорила она с человеком, с которым потом без малого двадцать лет была почти счастлива. Почти. Она всегда думала — это ее вытащили из тьмы к свету. А оказывается, и он тогда встретил свой ответ на вопрос «зачем это всё» — видно, порядком надоел уже Богу жалобами и вопрошаниями. Зачем? Забирать тех, кто не от этих богов, и давать им кров и покой. Вырывать из вечного круга.

Она пробуждается — звездной или беззвездной ночью, не увидишь этого изнутри собственной комнаты, пустой пещеры. И только звучит в ней голос, звучит где-то внутри, на грани сна и яви, не слышанный прежде и такой родной голос, что прежде не говорил с ней:

— Мы на стороне жизни.

— Я знаю, Господи, — она захлебывается словами своими, неумелыми и неуместными, — но почему же так много смерти, почему такой жестокой, почему так не вовремя...

— Я тоже... — голос звучит не строго, а нежно и даже немного растерянно, — Я тоже все время спрашивал: почему? Я стал одним из вас, чтобы это понять...

— Я знаю, — ошеломленно отвечает она, — и Твоя мама видела это.

— Она такая жуткая, эта смерть... — продолжает Он чуть растерянно и удивленно, — вот уж никогда не хотел бы еще раз.

В щелку под занавесью проползает... нет, не поздний зимний рассвет — предчувствие, ожидание рассвета. До рассвета еще далеко, и можно вдоволь нареветься, как в детстве. Так много смерти, и это так страшно. А Он? Разве не мог отменить для всех нас смерть? Всё, что Он сделал — Сам прошел через нее. Много это? Мало?

«Приближается утро, но еще ночь», — говорил один пророк.

Она так и не успела Ему спеть, пока был сон, пока во сне она была свободна, а голос был чист и свеж, не отсырел под водами Аквилеи, под годами многих утрат. Утренний гимн любви и света, она пела его почти

каждое утро, тогда, в далекой юности, когда она еще не узнала, что такое счастье, и не пережила его потери.

День шестой. Мужчина и женщина.

Он не всегда был таким, Аристарх: легким, уверенным в себе и знающим, как ему поступить. Но воспоминания о «других временах», как он сам их для себя называл — ненавидел, ни с кем ими не делился. Эти времена протекали тут, совсем неподалеку...

Это тогда он научился играть до самозабвения, в самом раннем детстве, и для игры ему не нужны были ни товарищи, ни игрушки, ни даже скромный уголок или зеленая лужайка. Игры рождались в его голове. Он звал про себя Циклопом⁶³ того, кого его мать звала мужем, а он на людях был принужден звать отцом (и был жестоко избит за первый же отказ это сделать, тогда он отлично запомнил урок). Он звал его Циклопом, а себя — Одиссеем, и видел всё как бы со стороны: вот он и его невидимые спутники, товарищи по играм, подхватывают толстое заостренное бревно, раскаляют его в сердцевине костра и вонзают, вонзают, вонзают его в осклизлый, отвратительный, бессмысленный глаз пьяного чудовища. И враскачку, доворотом, сверлят ему уже не глазницу — сам мозг, безумный, ссохшийся мозг чудовища. Он представлял себе это всякий раз, когда...

Нет, мы не будем об этом. Потом Циклоп сажал его на колени, грубо ласкал, говорил, что все мальчики проходят через это, что еще Платон воспевал мужскую любовь, что даже великий Цезарь в юности набирался мужской силы от вифинского царя Никомеда, и гляди, как возмужал... Даже на галльском триумфе распевали про него песенки: мол, как он галлов, так прежде его самого — Никомед! И еще добавлял, поглаживая по всяким местам, что раз он ему пасынок, а не родной сын, то ни боги, ни люди этого не осудят.

Мать, во всяком случае, не осуждала. Она подносила мужу вина, еще вина, забирала онемевшего сына, и несла его в собственный угол — а он представлял ее Медузой Горгоной, или Сциллой, или Харибдой⁶⁴, или всеми тремя вместе, и думал о том, как выскользнуть из цепких и

⁶³ Циклоп — одноглазый великан из др.-греч. мифологии. Одиссей со спутниками ослепил его, воткнув ему в глаз заостренное бревно.

⁶⁴ Чудовища женского пола из др.-греч. мифологии.

холодных объятий, в которых ему предстояло состариться прежде, чем возмужать. Сны уносили его в миры, где не было боли и страха, а если были — развеивались прежде, чем наступало пробуждение.

Все разрешилось просто, когда ему исполнилось четырнадцать. Одна из тех золотых побрякушек, которыми так мало дорожил Циклоп (и так жестоко карал за попытку их рассмотреть поближе), была обменена в гавани на арибал с почти не пахнущим зельем. С заостренным бревном вышло бы гораздо лучше, но и сосуд сгодился. Циклоп упокоился в родовой гробнице, арибал — на дне канала. Дело об отравлении для вида расследовали и быстренько замяли, слишком много было претензий к Циклопу и слишком мало улик. Мать — в траурном облачении, с сухими глазами и сжатыми губами — крепко обняла его после похорон и сказала только: «Прости. Иначе у меня не получалось».

Он был свободен, молод и весел. И он отлично умел играть. Его мозг порождал больше шуток, чем мог высказать язык, его руки и ноги, его кривляющаяся походка и отчаянная жестикуляция оказались еще красноречивей языка — и скоро вся Аквилея хохотала над новоявленным театральным чудом.

Но он не хотел оставаться в Аквилее. Едва смог себе это позволить — ездил по селам и городам, прибываясь обычно к торговым караванам, смотрел на мир и заставлял мир смотреть на себя. А потом махнул на всё рукой и перебрался на таинственный, пряный и ароматный Восток, где небо играло с людьми и люди с небом, и научился там отсекать свою память. И только тогда смог вернуться в Аквилею и помочиться на гробницу Циклопа — а потом положить на саркофаг матери букет небесного цвета фиалок. Большого она не заслуживала, но вот фиалки — в самый раз.

Недолго пришлось Феликсу ждать, чтобы высказать свое негодование Аристарху. Тот сам появился следующим утром: они с Мутиллием слегка припозднились с завтраком, и не успели они оттрапезничать, как в столовую-триклиний вошел свежий радостный Аристарх с каким-то свитком в руках:

— Приветствую, друзья! Нет-нет, не зовите к столу, я уже насытился плодами земными, а теперь, драгоценный мой Филолог, принес тебе еще одну из комедий Менандра — «Рыбак»⁶⁵. Я знаю, ты оценишь!

Что Мутилий, как хорошая гончая, сделает стойку и сходу возьмет след, можно было не сомневаться. Двое книжечеев углубились в беседу о Менандре, а Феликс с нарочитым безразличием поздоровался, а потом стал дожевывать свой хлеб с оливковой намазкой и кусочком козьего сыра. Взял и погрыз яблоко, отпил из чаши подогретый взвар ароматных трав. Нет, он не доставит Аристарху удовольствия видеть его взбеженным и растерянным.

Но вот, пользуясь тем, что Мутилий, обтерев руки, раскрыл свиток, Аристарх сам обратился к Феликсу.

— Ну что, ты понял, почему пирог вчера был именно *си-рий-ским*?

Феликс издал неопределенный звук, означавший, что ему вообще-то безразлично происхождение аристарховых пирогов.

— Да ты, я вижу, сердит на меня?

К столь прямому вопросу Феликс все же не был готов. Что, прямо сразу всё высказать? Наверное, так будет проще.

— Не терплю кощунства.

— Кощунства? Где ты его углядел?

— В том, как ты... как вы переделали Менандра.

— Да разве?

Аристарх как будто нарочно ничего не понимал. Он обернулся к Мутилию:

— А ты заметил вчера кощунство?

— Что?

— Кощунство вчера на представлении было?

— Не более, чем в обычной комедии Менандра. И много менее, чем в «Лягушках» Аристофана⁶⁶, скажем.

⁶⁵ Комедия, известная нам лишь по немногочисленным цитатам.

⁶⁶ Комедия, в которой в смешном виде представлены бог Дионис, трагики Эсхил и Еврипид и некоторые другие мифологические персонажи.

— Аристарх! — Феликс все-таки вскипел. — Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю! При всем уважении к моему другу Мути... Филологу, его заденет, если только ты надругаешься над грамматикой или передразнишь Гомера.

— Отчего же, было бы интересно послушать, — буркнул Мутилий и снова погрузился в свиток.

— Впрочем, его уже ничем не проймешь... Но повествование о сотворении мира, это для начала!

— Иудейские басни, — тут же отозвался Аристарх, — неужели ты всерьез к ним относишься? Неужели ты считаешь, — он слегка понизил голос, — что тот, кто сотворил видимый мир с его несовершенством и страданиями, и есть Всеблагий наш Отец? Нет, это самозванец-Демиург, жалкая обезьяна, которая насмотрелась на хозяина и берет в руки острую бритву, но лишь перерезает себе горло. А иудеи приняли эту смехотворную выдумку за истину и поверили в нее, а еще забавнее, что заставляют других верить в свою якобы избранность и первичность, навязывая свои нелепые рассказы и злокозненные измышления нам в качестве священных книг⁶⁷. Феликс, Феликс, но не тебе ведь такие азы объяснять! Не тебя, по слову Павла, кормить словесным молоком, неужто не дозрел ты до твердой пищи?

Феликс заколебался, но только на мгновение.

— Хорошо, оставим иудеев, хотя и тут я не уверен. Но ты же выставил на посмешище не их, а христиан!

— Самоуверенных глупцов, которые считают себя последователями Христа, но ничего не поняли в этом учении.

Тут вмешался Мутилий:

— Друзья, окончите ваш спор, в котором я ничего не понимаю и не имею намерения понять, а я пойду в свой кабинет. Если что понадобится, позовите.

Когда стихли его шаги, Аристарх продолжил:

— Есть люди, ты же знаешь, телесные, плотские (он кивнул в сторону рабыни, безмолвно убиравшей остатки их завтрака), для которых важны лишь вещи осязаемые. Они видят в комедии Менандра всего лишь любовную историю со счастливым концом, ну еще и повод

⁶⁷ Примерно так учил в эти годы Маркион.

поржать над шутками, и чем глупее шутка, тем громче ржач. Ты точно не из них.

Есть люди душевные (он показал рукой в ту сторону, куда только что ушел Мутилий), их наслаждение на первый взгляд тоньше, их глаз чуточку острее, но и они не способны проникнуть в суть, да и «не имеют намерения» (как мастерски он его передразнил! комедиант!). И ты сейчас рассуждаешь, как душевный. Услышал что-то такое непривычное — оскорбился. Но ты не таков, я же вижу, ты — духовный!

— Ты можешь мне льстить, — не сдавался Феликс, — но как ты объяснишь издевательство над епископом? Над общиной праведников?

— Феликс, Феликс, — почти простонал тот, — ну как же ты был вчера поверхностен... Ты же помнишь, что мы говорили о Никандре? Кто это на самом деле?

— Враг-искуситель, — ответил Феликс как-то машинально.

— Ну вот! Зачем же принимать сказанное им всерьез? Ты что, не видел людей, которые выставляют напоказ свою праведность, хвалятся ею, где только могут, рвут из рук друг у друга первенство, и всё это только чтобы себя потешить? Не встречал таких в своих общинах?

— Встречал...

— Вот и ответ! Никандр — именно таков. Это для телесных и душевных. А духовный увидит, что искуситель принимает порой облик ангела света и говорит правильные слова. Но верить ему не надо, опознать его легко по нечистым его устремлениям, которые не спрячешь никак. Вот это мы вчера и показали.

— А епископ? Ты... вы издевались над Константином!

— Ну уж! Ты разве не помнишь, что он не может на меня сердиться? Да и разве похож этот обманщик на нашего почтенного Константа?

— Ничуть...

— А вот теперь посмотри вглубь и вдаль, тебе это дано. Сейчас Рим гонит последователей Христа, это так. Сейчас. Всегда ли так будет?

— Не знаю... — разговор уходил в какие-то совсем новые дали, и Феликсу уже было немного стыдно, что он так поддался первому мальчишескому порыву, поторопился с оценкой.

— А я тебе скажу, что нет. Что скрепляет империю, кроме железа легионов и золота цезарей? Вера. Вера в Рим, в его вечность, в его силу, в его предназначение. Эта вера останется с ним. Но что она даст даку, германцу, мавру? Ничего, кроме повода для ненависти и зависти, и однажды легионы перестанут с ними справляться. И надо будет дать людям новую крепкую веру, и привязать ее к Риму, чтобы люди стремились к вечности, а приходили в Рим. Веру, за которую можно умереть без страха и с надеждой на благое посмертие... даже не с надеждой — с твердой уверенностью. Много ты таких вер знаешь?

— Нет.

— Я не знаю ни одной, кроме разве что суеверия иудеев, да еще некоторые из митраистов способны, пожалуй... но ничто, ничто, ничто кроме христианства, не скрепит эту империю, когда затрещат ее границы, когда навалятся варвары, когда сгниет сердцевина. И тогда — новое рождение, новые смыслы, новые знамена. Рим как центр христианского мира. Сие будет, будет!

— И?

— И будет как раз то, что ты видел вчера. Будут ряженные, которые назовутся для вас отцами и господами, заставят подчиниться себе, а внушать будут не про Христа — про империю. Будут управлять вами от имени Христа, но безо всяких на то оснований. И скажут «пойдите», — и пойдете, и скажут «сделайте», — и сделаете, и скажут «убейте и умрите» — вы убьете и умрете. И встретите Христа, который вам ответит: «Отойдите от меня, не знаю вас, не от Меня это было».

Феликс молчал. Возражать не хотелось, доверять пока тоже, но гнев ушел. Это был не балаган, не шутовство — это было пророчество, а вот окажется ли оно верным...

— Смех, мой друг — подходящее лекарство от спеси. Да что говорить об отдаленном будущем? Разве сейчас не стремится ваша община занять место потеплее, да занять его попрочнее? Говоря о Царстве не от мира сего (что совершенно верно!), договариваетесь вы с царством этого мира? И сами приспособливаетесь, подражаете ему...

— А что в этом плохого? — неуверенно спросил Феликс.

— Вот что плохо: забывать о главном из-за второстепенного. Впрочем...

Аристарх прихватил яблоко, одно из трех, оставшихся на столе после завтрака, сочно откусил, захрустел — так, что у Феликса слюна потекла.

— Кстати, знаешь, какой там плод был на древе познания добра и зла?

— Яблоко, конечно.

— Невнимательно читаешь! Нет там в тексте никакого яблока. Просто «плод».

— Да разве?

— Перечитай.

— А откуда тогда яблоко?

— У Мутилия спроси, по его части. *Malum* — это и «зло», и «яблоко» на латыни, хотя гласные там на самом деле немного разные, но пишется одинаково. Вот и выдумали, что яблоко... Видишь, как одни глупцы сочиняют ерунду на пустом месте, а другие им верят без малейших доказательств?

— Вижу... а какой был плод на самом деле? И кто был змеем? Там же еще сказано, что потом он будет без ног — а раньше что, был с ногами?

— Змей — это великое таинство, не здесь и не сейчас, — серьезно сказал Аристарх, — но если хочешь к сокровенному приблизиться... Знаешь, приходи к Восточным воротам за час до заката. Мой раб тебя проводит в одно место. Да, сегодня как раз будет удобно. Приходи, это будет еще одной ступенью на твоём пути к потаенному.

— А что было вчера? — как-то по-детски спросил Феликс.

— А вчера была предыдущая, — обернулся он уже на пороге комнаты, — и помни, всё не то, чем кажется, а за слова цепляется лишь глупец.

Феликс не знал, пойдет он к воротам или нет. Точнее, так: пойти хотелось, но надо было себя в этом убедить. Даже не убедить — найти предлог разрешить себе это. И он решил, что самый верный и правильный способ во всем разобраться — спросить у Константа. Ну, может быть не напрямую, может быть, даже не спросить, а просто...

посетить его, что ли. Обсуждать спектакль никак не хотелось, еще меньше — недавнюю беседу с Аристархом. А вот увидеть своего духовного наставника... если он еще мог его называть так после того, что они тут сегодня обсуждали.

Нет, он не разуверился ни в Боге, ни в епископе, но, скажем так, стал видеть всё полнее, объемнее. Повзрослел. Интересно, Константин это заметит во время беседы? Тот много проповедовал о необходимости духовного роста и взросления во Христе...

Дорога к его дому в самом центре города показалась на диво короткой, он почти бежал, едва не расталкивая суетных плотских прохожих, среди которых и душевные-то нечасто попадались.

Но вот увидеть хозяина сразу не удалось: привратник сообщил, что у епископа гость, они беседуют внутри, предложил подождать у импавуия — небольшого бассейна для дождевой воды во внутреннем дворе у самого входа. На улице снова зарядил небольшой дождь, и можно было смотреть бесконечно, как тоненькие струйки со склонов черепичной крыши звонко льются в бассейн и как вытекает из него лишняя вода через отверстие у самой кромки. Капли с крыш! На какую ерунду он тратил свое внимание еще вчера вместо того, чтобы внимать тайнам мироздания... Вспоминая вчерашнюю людскую реку, Феликс уже воображал себя каплей, которая падает с неизвестных высот (спросить у Аристарха, кем мы были до рождения) в бассейн, именуемый жизнью, и как неминуемо покидаем его в свой срок...

Но полного отречения от земной суеты не получилось, лишние мысли мельтешили, отвлекали, сталкивались одна с другой. Вспомнился так некстати плащ, висящий у самого входа — наверное, гость Константа его и оставил. Знакомый такой плащ, вроде, совсем недавно он такой где-то видел, и видел вблизи, и долго ...

Иттобаал. Меньше недели назад он гулял с человеком, одетым в этот самый плащ, и обещал стать его осведомителем. Рядом с этим плащом он там, в Старых термах, повесил свой собственный. Как его не узнать! Иттобаал у Константа? Чего он хочет? Опять происки, обман, вынюхивание?

И вспыхнуло в голове почему-то: а ведь было детство и у Иттобаала. Кто он в этом своем прошлом? Баловень судьбы из

благополучной и сытой семьи? Не похоже. Жертва голода и насилия? Возможно, но от этого ничего не меняется в настоящем. Проще думать: один из тысяч, легионов, мириад тех, кто неважен нам, кому мы можем походя умилиться — и кого во взрослости не заметим, пока незнакомец случайно не оттопчет нам ноги. Нет, Иттобаал определенно не наш герой. И кем бы он ни был там и тогда, здесь и сейчас он — опасность. Надо предупредить Константа, как опасен этот лис-финикиец...

Пока Феликс крался к комнате, где Константин всегда принимал гостей (сколько раз и его самого!), он уверял себя, что им движет забота, а не любопытство. Что он всего лишь хочет развенчать, предостеречь, помочь, а для этого ему важно знать, о чем там будет идти речь.

Плотная завеса не слишком хорошо пропускала звуки, но если пригнуться, пока никого рядом нет, и чуть ее отодвинуть снизу, с краешку...

— ... мой патрон, Тит Цезерний Стациан, велел передавать, что вполне одобряет вашу выдумку с погребальными братствами. В самом деле, если незаконные сборища и тайные общества строго запрещены, надо всегда иметь какой-то ответ на вопрос «зачем вы всё же здесь сегодня собрались». Почитаете память дорогого покойника — вы уж там найдете, кто недавно из ваших умер — или обсуждаете, как обустроить участок на кладбище. Прекрасная идея!

— Так это уже по всей Италии пошло, — Константин, виданное ли дело, словно бы отчитывался перед этим юнцом! Хотя, с другой стороны, если вспомнить, что он представляет своего патрона, одного из первых людей в Аквиле...

— Думаю, ты отдаешь себе отчет в том, насколько это важно сегодня, когда божественный цезарь собирается дать нашему городу права римской колонии, — а значит, и права римского гражданства каждому из нас.

— У вас, первых людей города, и так оно есть, — хмыкнул Константин, — да и я подумываю о том, чтобы его приобрести, хотя это связано, как ты понимаешь, с огромными расходами...

Феликса потрясла (и тут же устыдила) простая мысль, которая прежде не приходила в голову: у него есть от рождения то, чего нет у самого Константа — полноправное гражданство города Рима. И если

разобраться, о чем только думает цезарь, собираясь разбросать эти права перед всеми жителями Аквилеи, например, перед этим восточным шпионом и хитрецом — тогда как он мог бы наделить им исключительно людей порядочных и достойных, и епископа среди первых из них!

— Не торопись, — радостно отозвался тот, кто мог быть только Иттобаалом, — похоже, этот товар тебе достанется бесплатно. До сих пор Аквилея, вот уже более двух столетий, считается всего лишь муниципием, что постыдно для столь древнего и славного города, не говоря уж о ключевой роли, которую он сыграл в войнах божественного Траяна с даками и, что греха таить, о его богатстве. И вот тут, дорогой и уважаемый Констант, возникает одна мелкая, но немаловажная заковыка. Мне недавно попался в руки один интересный свиток — то, что ваш Павел пишет своим последователям в Филиппах.

— Последователям Иисуса.

— Ну, это для нас в данном случае одно и то же. Итак, Филиппы — еще одна римская колония, только в Македонии. И что же он им сообщает, римским гражданам посреди варварского моря, оплоту империи и верным слугам Господина нашего Цезаря? Он пишет, что перед этим самым Иисусом как перед единственным Господом должно «преклониться всякое колено» в небесах, на земле и в преисподней. То есть Dominus, Господин, теперь у них уже как бы и не Цезарь, а этот, прости меня за дерзость, мертвый иудей...

— Маний!

— Я всего лишь излагаю тебе, как мы это видим. Что это, как не скрытое подстрекательство к бунту?

— Маний, это совсем, совсем другое. Ты бы лучше почитал, что он пишет римлянам о нашей полной покорности наличной власти...

— Ну, что в Рим пишутся только такие отчеты, это уж, поверь, мне знакомо отлично. Небось для того и писал, чтобы при дворе прочитали. Но вернемся в Филиппы — ведь Аквилея скоро уравнивается не с Матерью городом, с нашим великим и вечным Римом, а именно с Филиппами. Еще ваш Павел добавляет, что подлинное их гражданство принадлежит небесам — это, прости, как? Это значит, что римское гражданство со всеми его правами — мусор для них?

— Павел еще в другом месте говорил, что он всё на свете почел мусором в сравнении со... — Констант уже явно оправдывается, Феликс никогда не слышал в его голосе такой неуверенности.

— Всё, но только не это. Так что, уважаемый всеми нами Констант, я очень советую тебе сделать так, чтобы ни одной копии этого письма не сыскалось отныне в Аквилее. Ты же это умеешь отлично. Да, кстати, вот еще про непокрытые головы неплохо у вас придумано. Не хотите снимать шляп перед храмами и статуями — ходите всегда без них, не дразните гусей. Лучше всего бы вам, конечно, найти какой-нибудь способ приносить хоть раз в год положенные жертвы Юпитеру Капитолийскому и гению либо фортуне императора...

— Исключено.

— Понимаю, пока исключено. Может быть, со временем... Мы же не верим во всю эту чушь, будто вы на собраниях занимаетесь кровосмесительными оргиями, поклоняетесь ослиной голове и пожираете плоть младенцев, это досужие выдумки. Но чернь падка на них, и любой данный ей повод... А первые люди города хотят только одного: мира и процветания. Следуйте своему культу, если вам так заблагорассудилось, только не заставляйте власть тащить вас к зверям на арену. Черни нравится, конечно, но на самом деле мерзкое зрелище. Отвратное.

— Я как раз об этом и хотел еще раз спросить, — Констант наконец-то пошел в наступление, и Феликсу это понравилось.

— Да?

— Относительно той женщины, на которую составлен донос.

Внутри Феликса оборвалась нить надежды. Донос составлен и, видимо, уже отправлен, иначе откуда бы им знать. И словно чтобы разрушить последнюю надежду на ошибку, прозвучало:

— Полина ей имя?

— Да, Паулина.

— Что же тут может сделать мой патрон, — с деланным недоумением ответил он, — дело будет разбирать консулар.

— Твой патрон, — Констант понемногу закипал, — может примерно всё. Стоит только попросить Цезаря...

— Да, — охотно согласился финикиец, — но подумай сам, сколько будет идти письмо к нему, сколько он будет выжидать удобного момента для беседы с божественным, сколько будет идти ответ... Думаешь, консулар настроен ждать? Думаешь, чернь не разорвет тут нас самих?

— Меня! — Феликс рванул занавесь в сторону, — призовите на арену меня, я умру, не дрогнув! Оставьте ее!

— Ты подслушивал? — ахнул Константин.

— Прости, господин, — в голосе Феликса не чувствовалось ни капли раскаяния, — подслушивал, но по внушению свыше. Оставьте старую женщину, она и так много страдала. Возьмите меня, я молод, я умею обращаться с мечом, вашей черни будет потешно наблюдать, как мы боремся со львом. Сразу я ему не сдамся!

— Меча тебе не дадут, — мрачно сказал финикиец, — а льва ты речами не убедишь. Ни даже пантеру или барса, я не знаю, кто есть у них из кошек в этом сезоне, новых поставок давно не было, зима ведь на дворе.

— Феликс, Феликс, — только и качал головой Константин.

— Константин, но скажи же ты ему!

Он никогда не решился бы бунтовать сам за себя. Но за Паулину — не было со вчерашнего вечера той жертвы, на которую бы он не пошел, от собственной жизни до доброго имени послушного епископу христианина.

— Понимаю твой пыл, который вовсе не извиняет твоей дерзости, — с расстановкой проговорил он, глядя Феликсу прямо в глаза, и тому пришлось потупиться, — и поверь мне, юноша, я бы дорого отдал, чтобы сейчас не слышать твоих упреков. Чтобы не быть кормчим: он первым замечает, что корабль неминуемо несет на скалы, и выбирает, какой борт подставить под удар. Какой ни подставь, а всё одно будет течь... но моя задача такова: чтобы корабль церковный удержался на волнах бушующего моря, чтобы пробоина была заделана и мы отправились дальше.

— Ты согласился, что это будет Паулина? — Феликс дерзко кричит прямо ему в лицо, прежде дорогое и чтимое, а сейчас ненавистное.

— Да кто же требует согласия пастуха на похищение овечки из стада? — с каким-то деланным спокойствием ответил вместо Константа

финикиец, — мы просто обменялись новостями и мнениями. Решать будет консулар.

— Меня, возьмите меня!

— Я бы тоже так кричал, — примирительно ответил Константин, — если бы был юн и горяч. И не в том даже дело, что место кормчего — у руля, а не в водах бурного моря...

— А в том, — подхватил финикиец, — что самая последняя вещь, которую хотел бы дом Цезерниев наблюдать в нашей прекрасной Авкилее — это чернь, которая по одному доносу отправляет на арену юношу из благородной римской семьи, вроде тебя, или почтенного торговца, с которым полгорода ведет свои дела, вроде Константа. И не бывать сему никогда, доколе Цезернии что-то значат в Авкилее.

— Я бы пригласил вас, друзья, к столу, — ласково говорит Константин, — чтобы всё подробнее обсудить, но сегодня пятница, и я пошусь от восхода до заката. А завтра — субботний день у иудеев, день священного покоя, — и я обязательно навещу Паулину, постараюсь укрепить и наставить ее, позабочусь, чтобы ее дни протекали в радости и достатке. Мы помолимся с ней вместе о...

— Предатель! — вырывается у Феликса как-то само, — предатель и трус!

— А ты-то, юноша, кто? — недоуменно отвечает ему финикиец, — не выболтал ли ты сразу мои секреты уважаемому Константу, на следующее утро после того, как обещал мне их сохранять? Ты уж извини, что пришлось воспользоваться твоим посредничеством, но мы так рассудили, что это самый верный способ послать весть Константу, так, не слишком раскрываясь: передать всё под большим-большим секретом одному пылкому мальчишке... Так и были созданы подходящие предпосылки для наших нынешних переговоров о статусе аквилейской христианской общины в несколько изменившихся условиях.

— Ах ты змей, змей! — кричит Феликс финикийцу, — искуситель, Никандр, лжец!

И выбегает на улицу, чтобы непрошенные слезы смешались с дождевыми каплями. Мальчишка. Дерзкий, глупый мальчишка, это правда. Всё испортил, всё снова испортил, — говорит он сам себе, —

никому не помог, епископа оскорбил, с влиятельным человеком на пустом месте поругался, — что будешь делать теперь? Как будешь ее спасать?

Пойду на таинства Аристарха, — отвечает он сам себе. Вода, сжатая со всех сторон, устремляется ввысь, и душа человеческая так же.

Раб встретил его в названное время в обговоренном месте — неприметный, никакой раб с водянистыми глазами, нужный только чтобы перенести груз или показать тропу. Под вечер окончательно развиднелось, земля просохла, воздух прогрелся так, что можно было до самого заката сбросить тяжелый надоевший плащ и вдохнуть запах — нет, еще не весны, но ее предчувствия.

Первое, что он сделал — передал совсем короткую записку от Аристарха. Феликс развернул кусочек папируса...

Светлое тянется ввысь, к первородному свету стремится.

Мира падшего грязь не запятнает его.

*Плоть есть темница души, и томятся в ней света
частицы,*

Ты же прерви этот плен, плотское плоти отдав.

А ниже было добавлено тем же ровным почерком:

Сотворил Бог человека по образу Своему,

по образу Божию сотворил его,

мужчину и женщину сотворил их.

Выглядело очень торжественно и невнятно. Раб на расспросы не отвечал, сослался только на то, что хозяин велел показать дорогу к загородному дому, — а пророчества истолковывать никоим образом не велел.

Вдоль дороги выстроились платаны — корявые и прекрасные в своей корявости великаны, сейчас без пышной своей листвы, в тени которой в летнюю пору может укрыться человек. Их тоже выстроил здесь Рим. Да, он вмешался в жизнь самой природы, он призвал платаны из южных краев, привил их к болотистым аквилейским землям, научил давать тень путникам и легионам, выстроил в ровную линию...

Но не было в эту пору ни путников, ни легионов. Брел поодаль осел — старый, облезлый, с несчастно-безразличной мордой, навьюченный корзинами с углем. В зимнюю стылую пору — самый доход углежогам. Ослика не то чтобы подгонял, — такого и подгонять бесполезно, — а скорее сопровождал раб-старик с кривым, перебитым когда-то, носом, с глубокими морщинами на лице — в них навсегда въелась угольная пыль. Он прихрамывал на правую ногу, его походка была дерганной и нелепой, но не смешной, как на сцене, а жалкой. Видимо, ломан у него был когда-то не только нос, но и ноги, может быть — бедренный сустав, и он ковылял, как мог, бесполезный обрубок человека, которому давали миску каши, как и ослу охапку сена, скорее из милости, чем за ничтожный его труд.

Заметив молодого господина, он сдернул с головы капюшон, склонил голову, не поднимая глаз, и побрел дальше, не надевая на всякий случай капюшона, — а вдруг господин строгий, вдруг обидится? Сколько же ему, — подумал Феликс, — лет сорок? Сколько лет рабского беспросветного труда превращают здоровое тельце ребенка в такое скрюченное чучело? А и оно ловит жадно солнечный свет, тоже жаждет счастья — глотка прокисшего вина, куска прогорклого свиного сала, да просто весеннего денька потеплей, понарядней?

Потомки будут судить о нас по Праксителю, — подумалось ему. Они решат, что все мы были безупречными двадцатилетними красавцами, мы строили прекрасные храмы, сочиняли великие поэмы, а остальное — грязь под ногами, неприметная и ненужная. Но сколько, сколько таких корявых рабов — плотских, а не духовных — на одну мраморную статую? Тысяча, десять тысяч, сто?

И что может сделать он, Феликс, чтобы этим несчастным помочь? Он же не Мутилий, чтобы их просто не замечать... Наверное, научиться выводить сокрытые частицы света — на свет. Раскрыть для себя эти тайны, чтобы однажды поделиться ими с остальными, облагодетельствовать человечество, насколько оно сможет и захочет его понять. И для этого он идет сейчас в загородное святилище Аристарха.

Идти было недалеко, к маленькому домику в стороне от дороги, за строем платанов. С виду было не понять, что это вообще за дом: для лачуги бедняка слишком опрятен, для загородного поместья слишком мал. Внутри всё было устроено не без сдержанной роскоши: стены

расписаны египетскими божествами и геометрическими узорами, в небольшом имплювии мраморная статуя Венеры, а прямо перед ним, на столе — большая чаша с непонятным напитком, который раб немедленно предложил Феликсу скорее жёстами, нежели словами. Питие отдавало горькими травами и оказалось терпким неразбавленным вином с примесями, такого Феликс никогда прежде не пил. Он хотел было поставить назад чашу после двух-трех глотков, но раб скорчил уморительно трагическую рожу и, произнеся одно только слово «таинство», своей рукой задержал чашу у губ Феликса.

Отчего бы и не допить? Пожалуй, глоток доброго вина ровно то, что ему сейчас нужно, неразбавленного вина, на скифский манер... В голове толи зашумело, толи, наоборот, прояснилось — фигуры на штукатурке как будто стали оживать, а может быть, это дрожало пламя двух светильников на трехногих поставках. Птицеголовые божества будто бы начинали клонить голову, вот этот, с длинным крючковатым клювом Ибиса — видимо, Тот, а напротив него еще один, с головой сокола... и как бишь его зовут?⁶⁸

Сознание как будто раздвоилось: одна половина Феликса беседовала с египетскими богами, вспоминала их имена, старалась припомнить, что там было сказано в записке про частицы света, а другая ужасалась своему падению: языческое святилище, дурманный напиток, невнятный раб в качестве проводника — да разве это подобает христианину? Что скажет Констант... и тут же первая половина возражала второй, что Констант в любом случае оскорблен, и что его мнение по любому вопросу вообще всем давно известно, и что познание добра и зла невозможно без отказа от привычных навязанных образцов... А вот и огромная змея, здесь, на стене, ползет, извиваясь, перед деревом, и некий заяц не то кот с огромным ножом собирается порезать его на куски — как повар Дав. Для праздничного угощения, наверное.

Феликс спал или бредил наяву, и понимал, что бредит, и ужасался бреду, одновременно погружаясь в него всё глубже. Осталось сделать только шаг вперед, к этой комнате с приоткрытой завесой, чтобы познать, сорвать, открыть...

68 Египтяне часто изображали своих богов со звериными и птичьими головами: Тота — с головой ибиса, Гора — сокола и т. д.

В комнате царил полумрак, посредине стояла жаровня с углями, так что было совсем тепло, даже почти жарко. В глубине сидела закутанная в черное покрывало незнакомая фигура, освещенная только мерцанием угольков.

— Здравствуй, — приветствовал ее Феликс, или только подумал, что должен ее поприветствовать, или... в этом полусне он ни в чем не был уверен.

И вдруг фигура поднялась, бросила щепотку чего-то почти невидимого на угли, по комнате поплыл сладковатый запах — так же пахло то вино с травами. А потом сделала шаг вперед, сбросила одним движением плащ и оказалась... обнаженной и прекрасной женщиной, лицо которой в неверном и слабом свете Феликс не сразу узнал... а может быть, не сразу поверил в то, что увидел, счел это наваждением, порождением дурмана.

Это была Делия.

— Иди ко мне, — она протянула руки.

И всё вдруг стало так просто и понятно: не рассуждая, откликнуться на самый древний и самый сильный зов (права Черепаха!), сделать шаг навстречу, рвануть с плеча фибулу⁶⁹, разрывая ткань, раскинуть объятия, принять эту жен...

Едва он успел к ней прикоснуться, как волна неудержимых, стыдных, липких содроганий родилась в чреслах и пронеслась по всему его телу, и он понял, что опозорен окончательно и безвозвратно.

Через час он рассказывал обо всем Паулине, и сам удивлялся, что не испытывает смущения. О том, как незаслуженно оскорбил Константа, о том, как позволил себе стать любовником распутной красавицы, — слыханное ли дело для доброго христианского юноши, — да и того не сумел, сплеховал при первой же встрече. И говорил с отчаянным каким-то смешком, что герои древности на его месте, пожалуй, покончили бы с собой, да ведь и это грех, и немалый.

И только об одной, главной неудаче он не мог поведать Паулине. Из-за чего он повздорил с Константином, так ей и не сказал, объяснил лишь, что поторопился с выводами и обвинениями.

⁶⁹ Фибула — украшенная застёжка для верхней одежды.

А та отвечала, что у мальчишек такое случается: и дерзость со старшими, и неловкость с любимыми, что мальчишки просто слишком торопятся расстаться со своим детством и потому спешат, где не надо; что это пройдет, что это извинительно и всем на свете известно. И ему почему-то не казалось обидным, что она напрямую называет его мальчишкой, и было даже приятно, как будто долго он искал, кто его так назовет, — и вот, нашел.

И что вообще он совершил удивительное открытие: заметил свою плоть. Раньше он жил в мире разных прекрасных идей, а теперь оказалось, что у него есть тело со своими желаниями и страстями, что нередко оно не в ладах с рассудком, — так еще великий Павел о себе писал: «чего не хочу, то делаю», и про жало в своей плоти — кто его знает, что он имел в виду, но вот такая уж она штука, эта самая плоть. Павел с ней не всегда справлялся, мы — тем более.

Они сидели во дворике, уже стемнело, и Паулина всё подносила лампу к его лицу, словно силилась разглядеть следы внутренней борьбы и никак не могла, а Зеновий выглядывал на огонек и ворчал, что слишком много масла они нажгут, что болтать не работать, можно и в темноте, а Феликс обещал прислать ему завтра много-много масла для лампы, целую амфору, и смеялся, и было как-то неожиданно просто и хорошо, как не бывало уже давно.

А Паулина говорила, говорила, как будто только его и ждала сегодня — выговориться.

— Мужчина и женщина — это же вечное и самое сложное. Так от сотворения мира пошло. Их в последний день Творец создал, а создав, почил от дел Своих — мол, дальше уж вы сами, как получится... Ну и получается, как получается. Может быть, не мне о таких вещах судить, не тебе о них рассказывать, а всё-таки расскажу, что могу.

Трое было в моей жизни мужчин, Феликс. Третий, Архелай — я говорила о нем в прошлый раз. Нынче я видела его во сне. Люди скажут, что он — свидетель и святой, а я просто помню, каким он был внимательным и простым, как хорошо рядом с ним было нашим детям. Да и вообще всем, и мне тоже. Это было счастье, ровное, спокойное счастье... да, счастье, все-таки счастье, почти двадцать лет рядом, день за днем, ночь за ночью... Вот я думаю: упрекать ли мне Бога, что их не

набралось и двадцати? Или лучше благодарить: у кого-то и двадцати дней таких не наберется. Вот уж не мне жаловаться.

Второй мой мужчина — не назову его мужем, я была просто его добычей, вроде лани или куропатки, а он был деревенским вождем, там, на Прежнем Острове, как я это называю. С ним — это только называлось жизнью. По счастью, не было у нас детей — обвиняли, конечно, меня, но от Архелая я же потом двоих родила... А этот... Когда он умер, мне тоже предлагали умереть, а я просто бежала с того острова с первым же христианином, какого встретила — с Архелаем.

— А первый?

— А первого...

Она запинаясь, молчит, глядит в пространство перед собой — а на самом деле, в прошедшее свое время. В то счастье, которому не нужны объяснения и слово «почти», в то счастье, которое не состоялось.

— Первого и только первого я любила как никого под этим небом... люблю и сейчас, хоть не знаю, позволено ли. Он умер язычником и гонителем христиан, и был он таким с тех пор, как мы расстались. Но только я знаю, что он был храбрым и нежным, что умел воевать и не боялся признать поражение. И что любил меня — как и я его, — больше жизни... Я была его рабыней, он дал мне свободу. Он показал мне, что такое любовь.

— Почему же вы расстались?

— Потому что я не дала себе права на ошибку, не решилась принять любовь язычника. Не дала нам обоим права на счастье, всё за двоих решила... Он-то был готов ждать. В ту единственную ночь, когда мы были вместе... я оказалась неготовой к извечному женскому, он это понял — и он взял меня на руки, как маленькую, как свою дочь, он сказал, что пока подождет, что место в его сердце и его доме — мое, навсегда мое. Он пел мне в ту ночь колыбельные, которые пела ему мама, баюкал, гладил по волосам, и не было для меня ночи светлее от той и по сю пору. Да, я признательна Архелаю за каждый год нашей жизни, мне было с ним хорошо, но никогда и никого не любила я так, как Марка, еще когда саму меня звали Эйреной...

— Его имя — Марк?

— Марк Аквиллий Корвин.

Феликс вскинулся, словно от подлого и болезненного удара — именно это имя он хотел бы забыть навсегда.

— Я же всех просил не называть меня так!

— А я и не называла, да меня ты и не просил. Я даже и не знала сначала. Мне ведь только сегодня, только на рынке сказали твое прежнее имя, твой род. Подслеповата я стала, черт лица не опознаю, а ты — да, всё сохранилось в тебе, только взглядеться надо. А голос у тебя совсем другой. Его звали... человека, которого я люблю больше всего, что только есть под небом, зовут Марк Аквиллий Корвин. Только тогда, мальчик мой, никто не добавлял слова «Старший» к имени твоего отца. Ты ведь еще тогда не родился.

Коммос. Зачем?

Не бывает в комедии плача, не входит коммос в ее состав. Но жизнь — такая штука, что комедия переходит в трагедию, любовная лирика — в авантюрный роман, а духовная литература — в беллетристику. И поэтому сейчас наступает коммос: плач хора о гибели если не самих героев, то их любви.

Не было больше Горы этой ночью. Вернее, ночь скрыла и ее: сочная южная ночь рассыпала тысячи звезд — для тех, чьи глаза молоды, остудила нагретые камни, вывела из укрытия тысячи ночных существ... Она спит, в этом сне она спит, приютившись, как попало, на плоских камнях, подстелив ткань воспоминаний о том, как была она счастлива когда-то. Спит и видит свой сон во сне, так и не дойдя до вершины Горы.

Весенняя Адриатика была юной, как сама Эйрена, ласковой и простой. Волна с шуршанием набегала на галечный берег, теребила камушки в своей детской игре, притворно отступала, чтобы снова лизнуть сушу и снова бежать. Так бьется сердце, — подумала она. Ровно и нежно бьется сердце бирюзового моря, в нем много соли — но нет горечи и вины. Если бы так было и с ней...

Но весны вокруг было слишком много, чтобы думать сейчас о чем-то ином. Она подошла к пологому берегу, где обычно купался... она не знала, как его теперь называть. Марк? Просто Марк? Ее любимый, ее господин, ее... просто ее Марк. И все, что только окружало ее, носило его имя, имело его черты, говорило и пело о нем.

У воды она чуть не потянулась к ремешку обуви — разуться. Забыла, что выскочила из дома босой, чтобы не будить его лишней суетой. Волна лизнула стопы, оказалась холодной и все-таки нежной — и как он плавает в этой воде, и подолгу? Должно быть, его закалила служба на далеком Рейне, суровые германские леса...

Волна щекотала пятки, идти по мелким и гладким камушкам было немного трудно — как и начать разговор с Тем, Кто прежде был самым

Главным в ее жизни. А теперь? Она встречала Его приветом каждое утро, иногда пела Ему, но чаще, когда не хватало времени, просто говорила несколько смущенно-ласковых и очень искренних слов. Сможет ли она сказать их теперь, когда ее любовь — это мужчина, оставшийся в доме? Ее мужчина... язычник!

— Я счастлива, Иисус, — только и сказала она, развернувшись навстречу солнцу, — я очень счастлива. Спасибо Тебе. Это ведь Ты устроил, да?

И в сердце что-то отвечало: ложь, ложь, ложь, ты не имела права, это должно быть совсем не так, блудница, ты недостойна даже назвать Его имя...

Эта лодка выскользнула из-за холма почти неслышно, черная лодка, гребцы на которой старались обойтись без лишнего шума. Или она только показалась черной на фоне рассветной голубизны? Или черной она стала потом, когда разделила ее жизнь на две неравные части?

Но тогда она не сразу заметила лодку, а заметив, не сразу поняла.

— Доброго утра! — она радостно махнула рукой, зная твердо, что все и всё на острове повинуются ее любимому, а значит, бояться ей нечего.

Двое гребли, третий всматривался в береговой пейзаж с хищной какой-то усталостью. Никто не ответил ей, но между собой эти люди перебросились парой фраз на языке, который она только училась распознавать — на местном иллирийском наречии. И она совсем не поняла смысла. Впрочем, ей казалось, что сейчас и ранние птицы пели, и волны шептали, и ветер играл в листве об одном и том же — о ее любви. О ее преступной, недожженной и такой прекрасной любви.

Гребцы стали взмахивать веслами вдвое чаще, и лодка развернулась в ее сторону.

— Доброго утра, — кричала она на греческом и даже на местном языке, уже зная эти простые слова, — доброго утра!

Ибо ни одно утро на свете не могло быть добрее к ней, чем было это.

И слишком поздно она заметила хищный оскал, мечи на поясах, маслянистые и цепкие глаза. Слишком поздно увидела ту часть мира,

которая не пела в лад с ее сердцем — и которая направлялась прямо к ней.

Впрочем, гребцам оставалось взмахнуть веслами раз тридцать или сорок, прежде чем лодка ткнется в гальку прибоя, а значит, время еще было — время принять решение. И она приняла его — то, за которое будет упрекать себя до конца своих дней, то, которое всё сломало. И приняла она его сама.

Она могла побежать в сторону дома, к своему любимому, под его защиту — и значит, под защиту Рима. Что могли сделать трое разбойников против римского центуриона? Против того, за кем стоят легионы? И все же этой ночью... под ее рукой оживал корявый шрам, след чужого удара на далекой чужой земле. Рим сомнет этих разбойников, раздавит их своей мощью — но убережет ли это ее любимого от их удара? Его сильное и усталое тело разметалось сейчас по кровати, и левая рука лишь недавно разжала объятия, в которых...

И она побежала. Побежала прочь от дома, побежала по кромке прибоя, оступаясь на скользкой гальке. А черная лодка чуть сместила свой нос и пошла на перехват.

Когда ее втаскивали на борт, она кричала, она звала, она просила — но было уже поздно... или было слишком рано, сразу после рассвета, и ее крик, разлетаясь по морской глади, был зовом голодной чайки, эхом горного камнепада, завыванием зимней бури. Или ужасом животного, смертельно раненного в схватке с охотником.

И когда ее перекидывали через борт, она неожиданно поняла, почему побежала прочь от дома. После этой ночи она не знала, кого зовет своей любовью. Она, наверное, предала небесного Жениха — и может ли после этого предавать земного... человека, которому не дозволено стать ее женихом? Может ли прибегать к его помощи, требовать покровительства, звать римские легионы?

— Марк Аквилый Корвин! — кричала она его имя, — Марк Аквилый Корвин — мой господин!

Разбойники только смеялись, один отвесил ей затрещину. Верили они ей или нет — уже не имело значения. Но тот, кого она звала Господом, этим утром стоял для нее на втором месте. А тот, кто был на

первом, сладко спал на собственном ложе и не мог услышать ее крика. И это было праведной карой за измену.

— Что я наделала... что... — говорила она самой себе, пока чужие руки тащили, ощупывали, вязали ее, — как я посмела...

— Что ты наделала, девочка, — отвечала она через полвека себе самой, юной, глупой и совсем недавно счастливой, — почему ты позволила придуманной вине связать свою жизнь? Почему ты решила всё за Него — и не оставила Ему права на милосердие? Кто внушил тебе, что земное счастье — не для тебя?

Но та юная Эйрена не слышала ее голоса. Она лежала мешком в чужой черной лодке, она проваливалась в тишину и темноту, в запах чужого ядреного пота и собственное забытие, пока не втокнули ее, связанной, в тесный канатный ящик на корабле — одном из тех, где чтут судьбу и наживу и тщательно избегают встречи с римским орлом.

Эйрены больше не было на свете. Была — безымянная пленница далматинских пиратов. Безымянная и молчаливая. Забывшая свое имя навсегда.

Тело затекло в этой крохотной камерке на корме корабля, и это было даже приятно, когда чужие руки вытащили ее — так же грубо, как прежде запихнули — встряхнули, поставили на ноги и повели на палубу. Но кисти были по-прежнему стянуты веревкой, она уже почти не чувствовала их. К губам поднесли глиняный сосуд с водой, она глотала бездумно, словно бы жажда жила отдельно от нее, — со вчерашнего дня она ничего не ела и не пила. Тот, кто ее поил, не торопился — так поят скот, вдоволь, но без тени сочувствия.

Солнце уже погружалось в холодные воды. Пиратский корабль, покачиваясь, стоял на якоре неподалеку от острова — чужого, незнакомого ей. Ветер доносил запах дыма и жаркого, привет от человеческого жилья, к которому, казалось, уже не было ей возврата. Она станет товаром или игрушкой этих бесстрастно жестоких людей. Или лучше так... выждет удобный момент и бросится в это море, из весеннего ставшее для нее свинцово-тяжелым. Это хорошо, что связаны руки — она не будет бороться за жизнь, камнем пойдет на дно. И совсем нетрудно было представить, как обволакивает тяжелая влага,

врывается в легкие, тянет в глухую бездну — ее душа была уже там, в немоте и отупении. Оставалось отправить туда только тело.

Но конец веревки, впившейся в ее запястья, был в руках бородатого человека с кривой щербатой ухмылкой. Это он давал ей воду и смотрел на нее с безразличием, но оценивающе — так смотрят не на людей, а на товар. На известных ей языках он, кажется, не говорил. Когда она напилась и отстранила губы от кувшина, он убрал сосуд, потянул за веревку, вывел на середину палубы, где у жаровни сидели еще трое мужчин. На жаровне шипело мясо — это оно, оказывается, пахло дымом и домом, но то была не ее пища и не ее дом. К горлу подкатил ком тошноты: она увидела только что освежеванную голову козленка, ее отложили то ли для супа, то ли для собак. Глаза козленка словно еще смотрели на мир, где он прожил так мало, и над глазами осталась малая полоска шерсти, словно ресницы на лице детеныша, лишенного жизни и шкуры.

Вечер был прохладным, настоящий весенний вечер после ясного и светлого дня. Но ее это уже никак не касалось, и свежий вечерний ветерок был таким же чужим для нее, как и этот бородач. Как и ее собственная жизнь. Как голова козленка.

Ее поставили в середину малого круга, загладели, всё громче и раздраженной. Она почти не понимала иллирийских наречий, но здесь... звучало имя ее возлюбленного, ее земного господина, и вдруг она поняла, о чем они говорят. Она — его рабыня, он слишком могучий мститель, и если узнает, что это они похитили ее, пиратов ждет только страшная смерть на кресте. Они могли похитить деревенскую девчонку или такого же глупого деревенского козленка, но только не собственность того, чье имя означает — Рим.

Продать такую добычу не получится. Избавиться от нее как можно скорее — самое верное решение. В ней робко затлела радость — так они хотят того же, что и она! За борт, в эти вечерние темные воды, со связанными руками, и камень для верности к ногам — и всё будет закончено раз и навсегда. Как с козленком.

Радость затлела, как дряблый фитиль на ветру, и тут же погасла. Тело, ее предательское тело не хотело туда, где уже невидимо колыхалась ее душа — в самую бездну, в пучину морей, в пристанище пророка Ионы, откуда никто не выведет его, в отличие от пророка.

И тело запело. Она не выбирала, что ей петь, слова пришли сами, из далекого детства, из той жизни, в которой она беззаботным козленком прыгала по пастбищам и по вечерам возвращалась в загон, к материнскому молочному теплу и человеческой соли на просторной ладони.

— *Гам ки элех бгей-цальмавет*
ло ира ра-ааа...

Дикие мужчины замолчали. В горле по-прежнему стоял ком, и слова словно проталкивались через него, сдавленный голос обретал силу, взлетал над морем, вставал, как птица на крыло, сбрасывая немоту и хрипоту. Кто это поет псалом над водами смерти, над пламенем ада, над оскалом звериного черепа, кто звучит яснее и точнее, чем всё, что только звучало до нее? Это она сама.

— *Ки атта иммади-иши...*
Шивтеха умишантеха
Хемма йенахамуни.⁷⁰

Они ошарашенно смотрели на нее. А тело вдруг поняло, само, без подсказки, что сейчас нужно другое. И горло породило само, без напоминания и без слов, ту мелодию, которую знали все в портовом городе ее детства — танец nereid. Это под нее в припортовых кабаках местные девки завлекали моряков изгибами молодой плоти, это она заставляла швырять им под ноги пригоршни монет, к радости владельцев заведения, это она была паролем и отзывом для всех любителей пожить сытно и весело по восточным берегам Срединного Моря. Они не могли ее не знать.

И тело, тело само извернулось, готовое к пляске, — а руки она протянула к тому, на чьем поясе блестел широкий кинжал. И он усмехнулся, подмигнул ей, — и его руки тоже тянулись сами к кинжалу, а лезвие кинжала — к веревке, и вот она уже скользит, не слыша ропота его сотоварищей, в танце, музыку для которого она напевает себе сама. Со свободными для пляски руками, затекшими под веревкой. Толчками крови возвращается в них жизнь, и они почти висят безвольно, но это неважно, нельзя останавливаться, чтобы их потерять.

⁷⁰ «Если пойду долиной смертной тени — зла не убоюсь, ибо Ты со мной. Посох Твой и жезл Твой — они дают мне покой» (др.-евр., строки из псалма 22/23).

Шаг по палубе, и другой, извив девичьего стана, и снова шаг, и всплеск руками... И еще один разбойник швыряет ей под ноги вместо монет кувшин, из которого она пила, грубая глина разлетается на черепки, и она ступает по этим черепкам, замороженно не чувствуя боли и не замечая пятнышек крови, что остаются теперь после ее шагов. Она движется и поет, и бегут с носа корабля еще двое или трое разбойников, но она смотрит в глаза этим, ближним, то одному, то другому, и дарит танец — каждому из них.

Вот этот, с ножом, сделал шаг, а другой, бородач, что-то повороньему гаркнул, и в глазах у них начал разгораться тот мужской огонь, который она только учится распознавать. А третий, лысый и приземистый, схватил за руку второго, и вот они все трое, нет, четверо, нет, уже шестером сцепились взглядами с ней — и друг с другом. И кажется, что широкий кинжал потянется сейчас уже не к веревке. В воздухе мелькает первый кулак, полукруг превращается в схватку — им дела нет до нее. Они — самцы в пору гона, они мчатся за призраком своего превосходства.

А она израненными ступнями легко вскакивает на ларец, что стоит у самого борта, изгибается неопытно и страстно, развернувшись к ним спиной — и взмахом, прыжком, всплеском уходит отвесно в воду — с борта, обращенного к быстро чернеющей ночи, чтобы корабль закрыл ее от остатков розового света на западном краю горизонта.

И там, в этой обжигающей глубине — и как только удалось? — извернувшись, задрав руки, выскальзывает из своего хитона, сбрасывает его путы с плеч, и долго, умело, расчетливо плывет под водой, как плавала в детстве девчонка с побережья и на спор могла продержаться дольше всех. А когда уже сердце рвется на части — перехватить короткий глоток воздуха, и снова во тьму, пустоту, обжигающий холод.

Танец nereid — кто сказал, что он бывает только на суше?

Они совсем не были готовы к ее прыжку. Тот из пиратов, кто считал ее своей, кто по праву кулака и кинжала был готов отбить эту ночь у прочих — он не умел плавать и не прыгнул за ней. А тот, кто умел, считал, что безумству их капитана так вовремя положила предел Фортуна, Ананке, Судьба — да кто угодно из этих надмирных сущностей, кто заставил девчонку саму шагнуть навстречу смерти. Ведь

не бывает, чтобы девушка умела плавать, тем более — в весеннем стылом море! И пока распаленные самцы возвращали себе роль добытчиков и ловчих, пока спускали малую лодку, пока в свете факелов углядели белое пятно хитона на воде — тело, носившее этот хитон, скрылось за ночными волнами, за внезапной моросью, ушло в другую сторону, в долину смертной тени, где ему нечего было бояться.

Они все-таки выловили хитон и решили для себя — ну чтобы не было обидно! — что девушка, страшись позора, упростила богов и вправду сделать ее nereidой, и дали обет принести жертву Нептуну или Посейдону — впрочем, они называли его каким-то другим именем, и не будем притворяться, что нам оно известно.

Тело ее помнило, в какой стороне остров, и выгребало туда — благо, и волны подгоняли. А душа... душа медленно поднималась со дна, не зная, зачем ее вызвали обратно, и тоскуя по тишине и покою. Холод сжимал тело, но и не давал ему успокоиться, душа едва успевала вздохнуть и думала, что ко всем кощунствам она добавила еще одно — танец портовых девок сразу после псалма. А потом подступали тьма и безразличие, и долина смертной тени напоминала только об одном — ей нечего бояться.

Лодка возникла перед ней быстро и бесшумно. Совсем другая лодка, без огня и плеска, без злобной ругани и запаха перегара. Две руки с двух сторон ухватили ее, но совсем по-другому, чем прежде пираты, подняли, перетянули внутрь, уложили, накрыли шкурой — теплой козлиной шкурой. И, стуча в ознобе зубами, проваливаясь в блаженное небытие, она успела сказать только одно: «ки атта иммади». Ибо Ты — со мной.

Так началась ее вторая жизнь.

Она не помнила сама, как оказалась на новом острове, чужом для нее (так она его потом и называла все восемь лет, что прожила на нем, Чужим Островом, а потом стала звать Прежним) — ее выбросило весеннее море, беспмятную, истерзанную, забывшую собственное имя. Мало походило это на рождение Афродиты, каким рисуют его живописцы — она сама потом со стыдом и ужасом представляла, как тащили рыбаки ее обнаженное и бесчувственное тело, как потом растирали его целебным жиром, как рыбацкие жены окуривали его

травами, проклиная про себя эту мраморную красоту и все-таки возвращая ее к жизни. Зачем?

На этом острове не принято было мстить красоте. Но он вполне готов был красоту забрать себе, наградив за это соломенной крышей над головой, миской пахучего и сытного супа, ежеутренней соседской улыбкой.

Она пробуждалась к жизни долго и трудно, лежа на мягкой подстилке и наблюдая игру света и теней на чужом потолке. Первыми обрели смысл запахи — жилья и дыма, готовой еды (и следом пробудился голод!) и близкого моря. Моря, которое никак не отпускало ее. Потом пробился еле уловимый запах цветов — и она поняла, что было на потолке. Это сад солнечным и теплым днем входил в окно, набрасывал тени, перешептываясь с ней и делая знаки.

— Здравствуй, сад, — сказала она в надежде, что он ответит, и так она вспомнит свое имя. Но сад не отвечал. Отвечала память, нерасторопно и скупно. Сперва возвращалась золотая бухта детства, потом... то, что лучше было пропустить, и, наконец, ей захотелось понять, где она.

Ближе к закату сад ушел к себе, а в комнату вошла женщина с седыми волосами и тонкими чертами лица, словно Мойра, которая... но причем здесь Мойра? Она верила во Христа. Она не утратила этого даже тогда, когда не помнила себя саму.

— Очнулась, милая? — спросила женщина на плохом греческом, — а зовут тебя как?

— Меня... — растерянно протянула она — я... не помню...

На самом деле она уже вспомнила имя. Но не была уверена, что имеет на него право.

— Будешь Нереидой. Ведь тебя принесло море. Или нет, подожди... — говорила женщина, которую не повернулся бы назвать язык старухой, — кажется, не идет тебе это имя. Сейчас весна — будешь весенней нимфой. Как ее зовут на твоём языке?

— Не знаю, — отвечала она, — но...

— Тогда назовем Эаридой, «Весниной».

Она промолчала, сил не было спорить. Пусть будет Эарида — хоть и сходно с именем, которое она старалась забыть.

Время не лечит, — но время подлечивает. И дня через три она самостоятельно вышла во двор, щурясь, смотрела на полуденное солнце и на людей вокруг — с равным добродушием и безразличием. А еще через два дня ее отвели к седоусому и крепкому старику, показали, раздев донага, и он, не прикоснувшись к ее телу, одобрительно хмыкнул. И ей объявили, что она станет его женой. Она не возражала. Ей было лень разжимать губы, а еще... ведь и так было ясно, что этот мир не отпустит ее, не напившись досыта молодой звонкой плоти, не иссушив ее души, не высосав по капле ее жизнь. Пусть это будет здесь, не все ли равно где?

И чужие руки снова омывали, умащали и одевали ее нагое тело — оно ей больше не принадлежало, — чужие гребни расчесывали волосы, чужие голоса пели невнятные песни, чужие божества загодя одаривали многочислаем, чужие предки принимали в свой круг — навсегда, навсегда, навсегда, — чтобы совершенно чужой мужчина сделал ее женщиной в эту ночь. Чужой, никому не нужной, лишней — ровно до той ночи, когда жаркое и безразличное к нашим судьбам Солнце однажды снова не повернуло к зиме, а сама она не сказала своему, совсем своему впервые в жизни увиденному человеку слова: «забери меня отсюда». Смогла их сказать.

Через тысячелетия, через толщу океана, через пространство сна та, седовласая и почти слепая женщина теперь на грани яви и сна кричит юной девушке:

— Зачем же так поздно!

И та, еще не отойдя от своего оцепенения, отвечает недоуменно:

— Ты о чем, моя старость?

— Зачем же ты лишила меня счастья? Почему похоронила на этом островке мои лучшие годы — и свое будущее?

— Разве тут хуже, чем в прочих местах? — пожимает плечами молодая, чуть растягивая губы в подобии улыбки. Надо же, кто-то ее боится. И этот кто-то — она сама. Только в будущем. Только с увядшим телом.

— У тебя был любимый.

— Да, — согласно опускает глаза та, молодая.

— Ты могла вернуться к нему.

— Не могла, — она уже не поднимает взгляда.

— Могла, могла, могла! Одно слово, одно имя — тебя бы отвезли к нему, а не к этому корявому пню...

— Я... я не имела права...

— Ну что, что ты вбила себе в голову?

Девчонка молчит. Но старухе и не надо ничего говорить. Удобен сон, в котором можешь поспорить с собой молодым — всё высказать, без остатка... Утраченного не вернешь, но хотя бы душу отвести можно.

— Я знаю, что ты решила. Будто это Господь разлучил тебя с ним. Будто ты страшно согрешила, не отвергнув любви язычника. А знаешь, в чем твой настоящий грех? Знаешь, чем ты действительно оскорбила Его?

Та удивленно поднимает глаза.

— Ты лишила Его милосердия. Ты столько раз твердила об этом в псалмах, ты пела об этом, у тебя же такой чудный голос — но когда это коснулось тебя... Ты выдумала, будто Он — мелочное и мстительное чудище, которое подсматривает за каждым твоим шагом. Почему, почему ты решила, что если с тобой происходит что-то плохое — это наказание от Него?

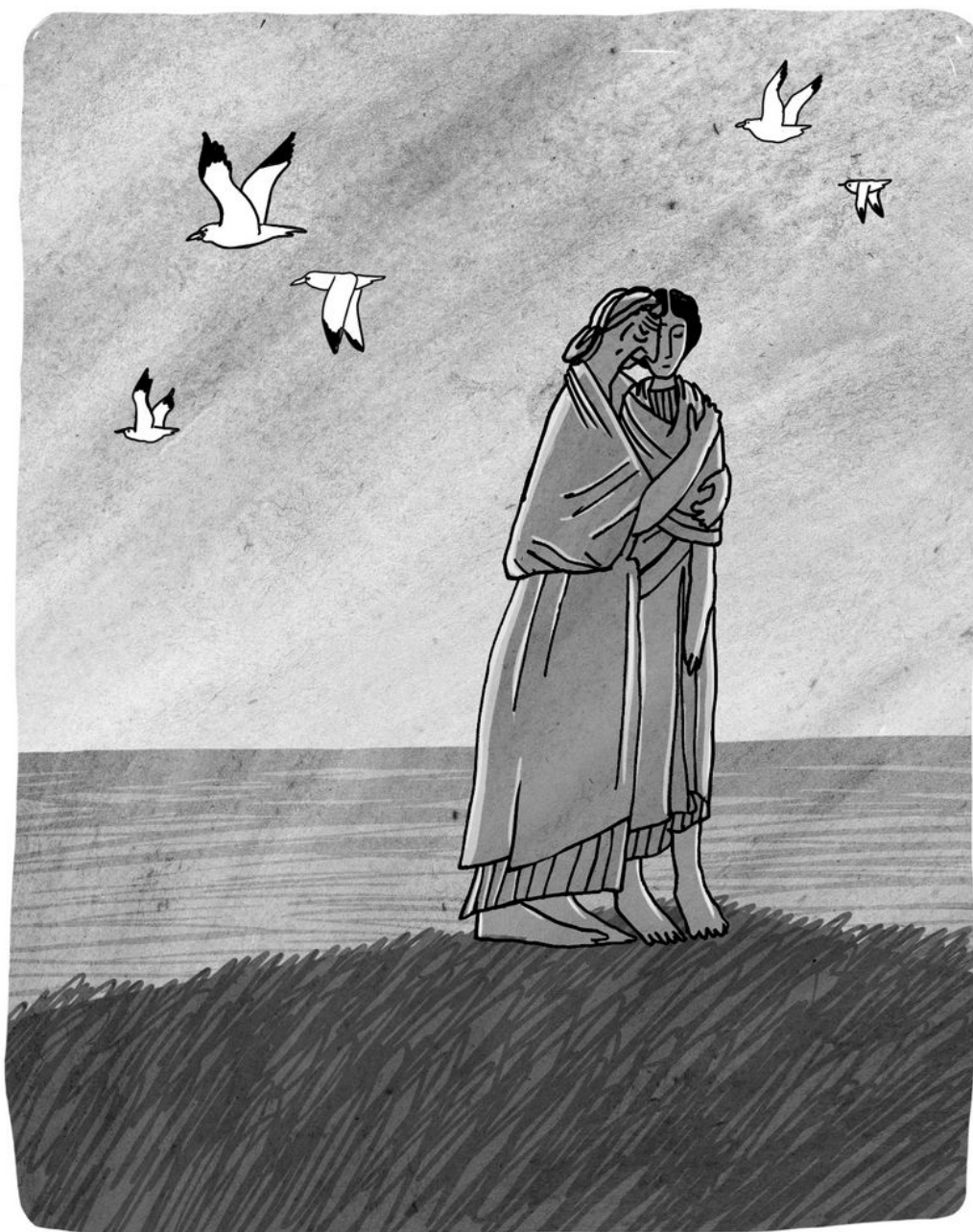
— Но разве...

— Ты считала, что это Он тебя разлучил с тем, кого ты любила. Что Он слишком ревнив, что не потерпит твоей земной любви. Что Он тиран, деспот, самодур. И отдала... позволила отдать себя настоящему тирану, деспоту и самодуру, которого не любила. Этому твоему чурбану.

— Но... он бывал добр ко мне...

А дальше уже невозможно было говорить. Можно было только обнимать эту девочку, лишившую себя счастья, — обнимать саму себя.

— Я знаю... ты просто очень испугалась тогда. Не вини себя. Ты сделала то, что могла, и вышло, как оно вышло. Я люблю тебя, девочка, и тебя ни в чем не обвиняю. Скоро рассвет, я проснусь на стылой и чуждой земле Аквилеи и не знаю, долго ли мне на ней ждать настоящего Рассвета. Останься со мной, ты мне нужна... Ты — и Он. Он и ты.



А дальше уже невозможно было говорить. Можно было только обнимать эту девочку, лишившую себя счастья, — обнимать саму себя.

И нет во мне ничегошеньки больше, кроме тебя, кроме Него, кроме нашей любви к человеку, назвавшему тебя однажды свободной...

Марк. Мой Марк. Добрый мой господин Марк.

И Христос, Пастырь добрый.

И сама она, девчонка-старушка, так и не привыкшая быть взрослой.

День седьмой. Отдохновение.

Каким же ярким и солнечным выдался этот день — почти что весенний, задолго до того, как ворвется в эти края настоящая адриатическая весна, буйная и стройная, веселая, не знающая ни удержу, ни срока. Вот и сегодня она о себе напомнила отсыревшему городу уверенным солнцем, глубокой синевой и даже птичьим щебетом, пусть еще не гвалтом, а вполголоса, так, на пробу.

Тяжелая неделя подходит к концу, и надо ее завершить, чтобы все повторилось — день первый, день Солнца с его собранием у христиан, день Луны с рыбным рынком в гавани, дни Марса, Меркурия, Юпитера, Венеры с их заботами и делами, наконец, новый день Сатурна, священная суббота иудеев, как сегодня. День покоя, день, когда почил Бог от дел своих и когда не удастся человеку отдохнуть от забот своих и тревог, ибо нет им числа и не несут они покоя, сколько ни суесться. И остается: доделать, добегать, довыяснять...

Феликс направляется этим утром к Аристарху, а Константин — к Паулине, как и обещал. Начнем, пожалуй, с Константа, это проще. Богатый, влиятельный человек приходит к бедной вдове оказать ей знаки внимания, поддержать и помочь, оставить подавание (не нужно, благодарю, мы с Зеновием справляемся сами). Епископ, надзиратель общины, приходит к ослабевшей и изнуренной прихожанке (я еще в силах, благодарю, только глаза вот меня подводят), чтобы наставить ее в вере и укрепить в добродетели. Или так: усталый, изнемогший под грузом ответственности человек приходит к той, помочь которой он не в силах... но хотя бы совесть свою успокоит приходом. Нет, не успокоит, и сам знает это, и все же ведет беседу.

— Есть ли у тебя некое сокровенное желание, Паулина?

— Ты спрашиваешь как у приговоренной...

— Что ты, просто хочу узнать...

Оба молчат, потому что оба всё уже понимают и оба не хотят о том говорить. Ведь приговор каждому произнесен в день, когда воскликнули

«родился человек!», — и всё остальное — отсрочка. Но какой же она бывает прекрасной!

— Я хотела бы... услышать соловья. Еще не время, знаю, но ведь скоро весна, они вернутся из дальних краев, где пережидают дожди и где их, наверное, тоже считают своими. Ты не знаешь, где они проводят зиму?

— Нет, — растерянно отвечает епископ, — а может быть, они впадают в спячку, как змеи?

— Сравнил тоже...

— Ну, или самозарождаются каждую весну?

— А я уверена: они улетают туда, где тепло, где им есть, чем прокормиться, как мы улетаем во сне в края, о которых тоскуем и которых страшимся. Они вернутся. Всё начнется заново, и золотое горлышко как будто невзначай обронит песнь об этих чудных краях, в которых нам не бывать — и ее я хотела бы услышать снова.

Констант прощается, подкладывает в старый горшок кошель с монетами (незаметно, как думает он) и уходит в тяжких размышлениях: где же ей добыть среди зимы соловья? Впрочем, кажется, есть выход: говорят, один местный торговец, из тех, что в гавани, держит птичку у себя, чтобы не скучать. Наверняка согласится одолжить, если за деньги. Вот отличное решение! Успокоенный, он возвращается к себе.

Встреча Феликса с Аристархом течет совсем по-другому. Феликс не наседает, не возмущается: он уже понял, что этот хитрец его всегда обставит, вывернет всё наизнанку... но и расстаться с ним не может. Аристарх говорит, увлеченно объясняет всё про частицы света, которые после падения Премудрости остались рассеянными в этом мире, и о том, как важно собрать их воедино. Но Феликс не очень-то верит.

— Неужто в этом помогает... плотское соитие?

— Разумеется! В момент высшего наслаждения плоть всецело поглощена плотским, освобожденный дух взмывает ввысь и достигает тех высот, где...

— Не слишком-то у меня вчера получилось.



— А я уверена: они улетають туда, где тепло, где им есть, чем прокормиться, как мы улетаем во сне в края, о которых тоскуем и которых страшимся. Они вернутся. Всё начнется заново, и золотое горлышко как будто невзначай обронит песнь об этих чудных краях, в которых нам не бывать — и ее я хотела бы услышать снова.

— Напротив, мой друг! Я думал, что ты поднимешься лишь на одну ступень, а ты поднялся на две. Я полагал, что ты познаешь радость единения с возлюбленной...

— Да у меня уже было...

— Нет, это не то, совсем не то, что с гетерами и кухарками — радость свободного соединения двух душ, стремящихся к истине. Но ты познал и другое: что женщина, даже самая прекрасная, безнадежно вторична, глубоко несовершенна. В записке, которую ты получил, была, друг мой, обманка. Это ведь ясно: если заносчивые иудеи сочинили, будто женщина сотворена одновременно с мужчиной и равня ему, можешь быть уверен, что эту мысль нам хотят внушить слугители Демиурга, оправдывая неуклюжее его мастерство.

— А на самом деле?

— На самом деле женщины бывают не более чем душевны, и то одна из ста, как прекрасная наша Делия, давняя моя подруга. Духовное — удел мужчин и только мужчин.

Феликс явно не верит, но Аристарх слишком увлечен собственным натиском, чтобы замечать такие мелочи.

— Смотри, не случайно даже в этой вашей общине, где не поднимаются выше словесного молока, женщина не может ни проповедовать, ни совершать таинства, ни быть епископом. И потому открываю тебе то, что и так знает от рождения всякий духовный муж, и только женские чары, демиургов обман застит ему до времени глаза. Зато великий Платон уже познал это и описал в бессмертном своем «Пире»: подлинная небесная Афродита — она живет лишь в мужских телах.

Феликс ошеломленно переваривает услышанное, и тут Аристарх совершает ошибку, что вообще-то нечасто случается с Аристархом. Молчание он принимает за согласие, и его рука приобнимает юношу — чуть нежнее, чем свойственно товарищеским объятиям, рука спускается чуть ниже, чем прилично. И всё это — чуть прежде времени...

Феликс вскакивает на ноги:

— Так что — только ради этого? Все таинства, посвящения, загадки? Ты просто — ...

Рука задерживается, там, где была, но голос теряет уверенность:

— Друг мой...

А Феликс смеется, гогочет, ржет, не может остановиться, складывается пополам, так что нахальная аристархова рука соскальзывает с поясницы сама. Простой ответ, наконец-то простой ответ: так Аристарх в него влюблен! Так это всё то же, что и везде, и нет разницы между портовым грузчиком и этим вот «посвященным»! Он вскакивает, тыльной ладонью обтирает рот, словно стряхивая остатки смеха и, не прощаясь, выбегает из дома Аристарха. Как всё просто объясняется, как легко решается загадка!

Не пришло для него время сложных ответов. Феликс отправляется бесцельно бродить по улицам, бездельничать и страдать, благо достаток ему всё это позволяет, и насвистывает дурацкую бессмысленную мелодию, подхваченную где-то в гавани. Танец Нереид, кажется, так они ее называли.

А город живет, он раскрывается навстречу солнцу и почти невозможному новому лету — улыбками случайных прохожих, щебетом забытых птиц, рябью на уличных лужах, которые словно извиняются, что не успели просохнуть к полудню.

Мальчик тащит на рыночную площадь осла с поклажей, тот упирается, ревет, а мальчишка уговаривает его и ругает как-то весело и беззлобно, — а как же еще можно в такой-то день?

Торговец рыбой, пропахший тиной и солью, нахваливает во всеуслышание свой товар, и вьется вокруг него наглый и ласковый серый кот, только ждет своей маленькой удачи, мига, который обязательно придет: ухватить, утащить, сожрать.

Спешит куда-то озабоченный пожилой раб, явно из грамотных, и нет для него сейчас дела важнее, чем выполнить никому не ведомое поручение хозяев: заговор ли всемирный составить или свежих булочек к обеду купить? Неважно, он при деле, он нужен и важен своим господам, жизнь его наполнена смыслом.

Юная красавица, не по погоде укутанная до самых глаз, в сопровождении старой и строгой няньки бережно несет себя по городским улицам. Нянька зыркает на всех коршуном, но девочка-то, девочка, — что она умудряется вытворять одними глазками! Каждому

встречному поет она, не произнося ни слова, песнь непрожитой юности, каждого зовет восхититься и устремиться, не обещая ничего никому.

И длится день. Один из множества дней, один из тех, что были до нашего рождения и будут после нашего ухода, день, наполненный мелкими делами, игрушечными радостями и ненастоящими страданиями. День седьмой в нашей повести, а на самом деле день без номера, смысла и цели, — мы ведь сами их ему сочинили.

И Феликс застывает на пороге дома, где живет (а к чему и сидеть дома в такую погоду): вот же она, Полнота. Все эти люди, звери, птицы, рыбы, весь этот мир с его днями и ночами, ветрами и дождями, островами и континентами, весь пестрый, несуразный, прекрасный и бестолковый мир — он и есть Полнота. Только надо уметь это видеть.

И настанет новый день, и жертву потащат на арену, и те же люди, которых он видит сейчас, будут хихикать или улюлюкать, а может быть, втайне жалеть, — но потянутся, как на представление, на красочную, яркую чужую смерть. Будут любоваться, как мраморной статуей, истерзанным телом, а ведь человек прекрасней мрамора — и порой много тверже его. И алой будет кровь, и бессильными будут слезы, и рабам даже не придется отскребать кровь от камня — арена потому и зовется ареной, что щедро посыпана песком⁷¹. Тяжелые комья багрового кварца соберут лопатой и выкинут на свалку, за них будут драться голодные псы, из такого песка не испечешь стеклянной прозрачной капли — и это тоже будет Полнота. Таков есть, таким будет наш мир.

Господи, зачем ты приходил? — шепчет Феликс, — ничегошеньки же не изменилось. Вся кровь и весь смех этого мира, все насмешки и улыбки, вся пестрота его и сложность — они остались, а Тебя с нами нет. К чему это было? Как мне верить в Тебя теперь?

С этим вопросом, как с давним приятелем, он протаскается весь день по улицам и пригородным дорогам, по портовым складам и священным рощам, по закоулкам собственной небогатой памяти и по дворцам своего роскошного воображения. Зачем Ты приходил, Господи?

⁷¹ *Arena* на лат. яз. означает «песок».

Наступает вечер, и никого не мучает этот вопрос, ведь день прошел, хвала небесам, ясный, солнечный день, и не случилось ничего в нем плохого, и пусть завтра будет такой же.

Делия — в маленьком загородном святилище Венеры. Она обещает и на сей раз богатую жертву для святилища богини, если Пеннорожденная, при помощи милого дружочка Аристарха, приведет к ней в дом возлюбленного — и со смехом рассказывает ей, как трогательно неуклюж он был вчера, при первом свидании наедине, сущее дитя! Венера оценит, пожалуй.

Завершает субботу Мнесилох-Исаак, в кругу дорогой семьи, с женой и тремя детишками сидит за столом, возносит положенное благословение и благодарение и спешит дожидаться захода солнца, чтобы завершилась суббота с ее запретами. Весь день сочинял он письмо к должнику и партнеру в Аквинке, не притрагиваясь к письменному прибору, ибо сказано: «И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал». И не видать Мнесилоху сна, пока не изложит всего на папирусе, не устроит отправку письма адресату, но только в дозволенное для дел время.

Приносит свои тайные замыслы своему покровителю Ваалу (а кому же еще?) Иттобаал, но он, пожалуй, не хочет, чтобы мы о них знали. Они проходят по разряду «совершенно секретно».

Размеренно и полновесно роняет слова своей молитвы перед образом Доброго Пастыря в своем дворце епископ Констант. Он сознает груз своей ответственности за общину, он просит о милости и поспешествовании, не забывает сказать и о собственном недостоинстве. Отдельно он, как порядочный секретарь своему господину, напоминает Спасителю о вразумлении непутевого Феликса и об укреплении Паулины, во обстоятельствах сущей. Ничего не пропустит он из важных дел. Главное, стараться ничего никогда не менять, а это ведь самое простое.

Говорит с Богом или о Боге, пожалуй, и Аристарх — он на тайном собрании адептов Полноты, которое проходит в его собственном доме. Адепт, собственно говоря, кроме него только один, вот Феликс явно в этот раз не придет, сорвалась рыбка, но это не очень важно, всё равно ведь так увлекательно говорить от имени Абсолюта, так приятно обличать невежество и косность, так сладко сулить открытие тайн,

которые и сам, пожалуй, еще не успел себе придумать. Верит ли он в то, что говорит? Трудно сказать. Слишком уж маска приросла к лицу, не отдирается.

Филолог-Мутилий перечитывает в своем кабинете строки Гомера — он как раз на середине списка кораблей... Простите, но вы же не хотите, чтобы он молился вот этим вздорным, сварливым, спесивым и слишком человечным гомеровским богам? А строки Гомера великолепны, лучше него о богах не напишешь, и не сравнить с его строками эту корявую писанину про «был вечер и было утро, день номер такой-то»? Только вслушайтесь: «Встала из мрака молодая с перстами пурпурными Эос»⁷²...

Близится к концу долгий, насыщенный событиями, почти весенний день. Цезарь Публий Элий Траян Адриан Август проходит по комнатам путевого дворца, — которого уже по счету? К вечеру в него привели пятерых златокудрых мальчишек — и надо выбрать, кто из них будет изображать Антиноя на грядущем празднестве. Он замедляет шаги на подходе к внутреннему двору, где их поставили так, чтобы вечернее солнце брызнуло на их и без того золотые кудри...

Он боится, что встретит там... нет, не настоящего, воды Нила глубоки, а воды Леты, реки забвения, — и того глубже. Будет по-настоящему страшно, если он встретит там кого-то слишком похожего на настоящего Антиноя, такого, что, приметив его вполоборота, краем глаза, против солнца — можно будет принять живого мальчишку за божество. Того, кто рядом, лишь руку протяни — за того, кто теперь только в сердце. Это будет слишком больно — разочаровываться.

Его царедворцы — наивные и глуповатые люди. Они наверняка подобрали самых хорошеньких мальчишечек, какие только бывают на свете, самых златокудреньких, они научили их притворяться Антиноем, уговорили быть доступными и безотказными, ласковыми и откровенными, пожалуй, еще и губы призывно облизывать научили — как никогда не делал Антиной... Ни один из них так и не понял, кем был тот, настоящий.

⁷² Строка из «Илиады» Гомера, перевод с др.-греч. Н. И. Гнедича.

Он распахивает завесу, решительным шагом и с каменным лицом, как перед легионом в Дакии, обходит строй. Их пятеро, возрастом лет по двенадцать, босоногие, в коротких белых хитонах — кто не умилится при виде таких ангелочков! Первый перепуган, дрожат пальцы рук, второй пытается улыбнуться, третий... да кто же ему внушил, что императора надо соблазнить! Какие болваны эти придворные. Почти не глядя на четвертого и пятого, — дурачки какие-то деревенские, пятый вообще как девчонка, — он выходит через другую завесу. За ней уже ждут: кого он выбрал? Чей род будет осчастливлен, кто возвысится, кто, благодаря золотым кудрям, теперь залезет недетской, волосатой рукой в денежный сундук государства?

«Никто из них, — бросает он, — и никто другой. Антиной будет изображен той мраморной статуей, которую мне недавно прислали из Коринфа. Накормите детей, уложите спать и завтра отправьте по домам. Да не забудьте наделить их подарками для родни, всё же они гостили в доме Элиев».

Он подходит к окну, за которым едва начинает розоветь восточное буйное и непредсказуемое небо: сегодня дарит штиль, а завтра бурю. Небо, населенное мириадами божеств, — как бы ни смеялись над нашей наивностью философы, а все же надо человеку во что-то верить, — и среди них теперь горит звездочкой одно родное имя: Антиной. Тот, кто его понимал лучше, чем он сам.

«Уже скоро, — шепчет он, сам не зная почему, — уже скоро и меня назовут божеством, правдиво или нет, не знаю, а значит — я унесусь к тебе на облака, и мы будем взапуски бегать по весенним дождям и швырять на землю молнии, если Юпитер нам позволит, конечно, — кто метче попадет... Спорим, я первым свалю самый большой дуб в каком-нибудь варварском лесу, где германцы или эти траяновы даки? А они все попадают на землю от страха перед нами... Спорим, ты не догонишь меня?»

Он говорит с Антиноем, и это трудно назвать молитвой, — а на самом деле говорит с десятилетним потерянным мальчиком, который вдруг остался без отца и никогда уже не обретет настоящего друга. Никогда, доколе не встретит Антиноя. Говорит с самим собой, каким был когда-то и каким уже не разучится быть, и чем ближе старость, тем это ему яснее. Семь с небольшим лет осталось ему ждать догонялок, мы

уже это знаем, а состоится ли та встреча за пределами горизонта — неведомо нам и доселе.

Валится на усталые холмы Обетованной земли дождливый вечер, Шимон Бар-Косева обходит дозоры. Все знают: он крадется, как кошка, нападает, как сокол. Отвлечешься, уснешь на сторожевом посту — в первый раз он подкрадется сзади и оставит своим ножом метку на твоём горле, небольшую кровавую метку, которая за пару недель заживет, — но страх останется. А что будет во второй раз, никто еще не проверял, но говорят, что...

Да, они говорят, эти болтуны. И все равно он ставит их в дозор попарно — так меньше соблазна заснуть или сбежать, пусть приглядывают не только за горными тропами, но и друг за другом. И пусть рассказывают потом ему, что выведали за ночным скучным разговором в дозоре.

Он за валуном, прямо между этими двумя и низким солнцем, так и стоит нападать на врага в эту пору дня, с солнечной стороны: пока он щурится, у тебя будет время для одного удара, зато тебе косые лучи сразу осветят зазор между пластинами римского доспеха. Но сейчас по ту сторону тени — не римляне, а его собственные бойцы, которым предстоит победить римлян, и они знают это. Один седовласый, познавший жизнь, рассудительный и спокойный воин, другой молодой и горячий, но уже со шрамом на лице, такой нам годится — молодая дурная удаля становится воинской доблестью лишь после первой или второй крови, это Шимон знает по опыту. Словом, идеальные они напарники друг для друга.

Они мечтают, как и сам Шимон, о дне, когда Иерусалим, наконец, будет свободен. Но говорят об этом по-разному. В речах пожилого — уютный дом, своя смоковница у ограды, возня внуков во дворе, пять-шесть рабов-язычников, чтобы спокойно встретить старость. А у молодого другое на уме: столбы, столбы по всей дороге от Иерусалима до Иерихона, и на каждом — по язычнику. А еще хорошо бы на столбы и тех, кто принял языческую власть, кто подчинился Риму, кто не вышел на борьбу. Вот будет красота!

Не дикой горной кошкой бросается Шимон на них, отметки на горле поставить — выходит простым человеком, немного усталым и разочарованным.

— Что же вы? Для чего же всё? Бога прославить — или себя потешить? Чего ищете — мести врагам, удобства себе, сладкой жизни, мягкого ложа? Мало вам этого было там? — машет он рукой в ту сторону, где за камнями и долинами стоит римский гарнизон. — Сюда зачем пришли?

Вскочили, стоят — пристыженные, молчаливые. А что в этих головах, что там варится, в этих горшках из глины земной?

— Как послужить? — исподлобья глядит хмурый молодой, он погорячее, ему не терпится, — Явить всему миру Его славу и силу, разве нет?

— Она разве в столбах с распятыми? В насилии? Или, скажи еще, — повернулся Шимон к той башке, что уставилась на него лысиной, не поднимая глаз, — в смоквах и женах? Не-ет... Все это хорошо, но не в этом главное.

Он обвел рукой палевые горы, глубокое предвечернее небо:

— Как прекрасен этот мир, сотворенный Господом, как совершенно всякое Его творение, на всякий день и на всякий час исполняет оно волю Творца! И только человек — он обвел рукой их троих, стоявших перед лицом неба и земли, — только человек нарушает его волю. Сегодня суббота. Что было в седьмой день творения, помните ли?

Из-под недрогнувшей лысины прозвучало заученное:

— «И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел Своих».

И из-под пламенеющих угольков юных глаз, ему в ответ:

— «И благословил Бог седьмой день, и освятил его».

— Какой же еврей не помнит этих слов! — усмехнулся Шимон, — и мы думаем, что это про субботу. Что не должно в субботу работать, торговать, воевать или путешествовать, а некоторые из этих умников-фарисеев добавляют кучу своих мелочных запретов, лучше бы запретили себе жадничать и блудить. Нет, не в том суть. Бог почил, и в субботу остались непраздными только руки человека. Наши руки. Мы

призваны исправлять и совершенствовать этот мир, а он лежит во зле. Мы призваны в субботу исцелять и защищать, призваны подражать Ему в этом. Быть Его руками.

— И вот, — голос Шимона ширился, рос, обнимал и камни, и облака, — грядет Великая Суббота, великое исцеление мира, и начаться ему должно от Иерусалима. При Маккавеях попытались его начать наши праотцы, но не смогли, осуетились, сами уподобились грекам, которых победили, — и дело их зачахло. Не так будет у нас. Не спрашивайте меня, можно ли в субботу то или это — взыскайте Отца, воссияйте, как звезда от Иакова, изгоните страх и Дух сам внушит вам, что делать и говорить. Забудьте про смоковницы и трупы врагов, весь этот мир предназначен для нас! Будущее — за нами!

— Здорово ты сказал, — восхищается юный. Восхищается, да понимает ли?

— Это верно, про субботу, — соглашается пожилой и впервые поднимает глаза, — так ты, Бар-Косева, ты распорядись там, чтобы нас сменили поскорее. А то знаешь, живот уж подводит, а ребята в лагере больно шустрые, опоздаешь к ужину смены — одни ополоски на дне котла оставят.

Падает вечер на Святую Землю, завершается субботний день и сотворяет Шимон из глины людской великое Божье войско. А глина никак не хочет сотворяться.

Напротив епископа Папия сидит его пресвитер Аристодем. На стол между ними ложатся через дверной проем косые румяные лучи, и кажется, будто лежащий свиток покрыт золотом. Это первый том книги Папия, Аристодем его закончил читать накануне вечером. Ему Папий показал первому.

Да и кому еще показывать? Именно Аристодема он оставил в шумном бурлящем Иераполе старшим над прочими пресвитерами, пока сам ездил по дальним краям в поисках Слова. Верный, мудрый, скромный и спокойный Аристодем — не было у Папия никогда помощника надежнее в любом деле. И вот Слово добыто у десятков очевидцев, просеяно через сито сомнений и сравнений, собрано воедино — пять книг. Верный Аристодем скажет ему, не впустую ли всё.

Нет, Папий знает, что не впустую, но ему нужно услышать эту оценку, он ждет благодарности и какого-то детского даже восхищения: ого, что у нас теперь есть! Вот это да! Золотой свиток, не только с виду.

Ты же простишь, Господи, эту маленькую слабость, этот миг даже не тщеславия — жажды одобрения? Ты мне дашь сейчас это?

Но спокойное лицо пресвитера не отражает почти ничего, и лишь вечерние тени поигрывают на его лице, когда он поворачивает свой точеный профиль и чуточку щурится на косом солнце. Начать речь он не торопится.

— Дорогой мой учитель и духовный отец, не мне бы тебе давать такой совет, не тебе бы его выслушивать. Но раз ты обратился...

Он сглатывает, отводит от свитка глаза прежде, чем продолжить.

— ...сожги ты его, ради Бога.

Папий молчит.

— Прости мою дерзость. Я должен объясниться. Ты понес огромные труды, ты обошел моря и сушу, чтобы собрать свое сокровище. Поверь, оно в людях, которых ты сподобился встретить, в праведниках и столпах Церкви. Но оно не в этих словах. Господь примет твои труды, но эти слова — не на пользу церкви.

Мы... мы простые люди. Мы многого не знаем, что-то присочиняем, где-то ошибаемся. Но все же есть у нас твердая, здравая, честная вера. Где что не так — там Господь разберет. А ты... смотри, ты рушишь ее. О чем подумает простой человек, прочтя твою книгу? Что всё совсем не так, как он привык.

Я не спорю, тебе как ученому мужу виднее, что оно там было, кто чего не говорил и кого с кем перепутали. Но смотри, ты пишешь, что пресвитер Иоанн, который был на Патмосе — на самом деле совсем не сын Зеведея и не брат Иакова, не один из двенадцати, а другой человек. Я же, ты пойми, не спорю с этим. Но что нам с этого «на самом деле»? Смушение одно. Ну ладно еще Иаковы, их было несколько: Зеведеев, Алфеев и еще этот третий, «брат Господень», хотя и с ними путаница вечная. Назовут же эти евреи всех своих одинаковыми именами, не разберешься...

Но Иоанна нам оставь! Один он для нас. На Тайной вечери возлежал на груди Спасителя, принял к себе Его Мать, потом написал

Евангелие и Откровение и еще некоторые книги, говорят, тоже, хотя я пока не читал. Да и Откровение это, по правде... не нужно его простецам читать. Мы вот никогда его вслух на собраниях не читали, я даже не стал список с него заказывать, так и осталось оно там, в Эфесе. Ну ладно, я не об этом...

А тем временем вечер густеет, свиток розовеет, на нем уже не золото, но еще и не кровь. Плотнеет темнота, буквы трудно будет разобрать, но их никто и не разбирает. Папий встает, берет с полки лампу, зажигает ее с помощью лучины от еле тлеющих углей на жаровне в центре комнаты, ставит на стол. И молчит.

— Оставь, оставь нашему простому человеку его простую веру, — горячится Аристодем, — не разберется он в твоих Иоаннах, запутается, преткнется, соблазнится. И что? Уйдет от Бога. А если он узнает, что приобретет? Зачем ему этот вкус к переменам? Самое верное и точное, самое простое — ничего не менять.

— Псоглавцы, — роняет Папий в ответ.

— Не понял тебя, — Аристодем вскидывается.

— Я ведь начал этот труд, когда понял, сколько чуши рассказывают теперь под названием «Благой вести», — уточнил он, — вот придумали каких-то людей с песьими головами, бабьи все эти сказки... неужели...

— А мы отделим, — тут же подхватывает Аристодем, — если и есть какая в этом нелепица, мы поправим. Скажем, что вот этого как раз и не было. Мы же священноначалие. Слово принадлежит нам.

И тут Аристодем словно бы спохватывается, не слишком ли он заболтался, не сказал ли лишнего. Встает, кланяется в пояс:

— Прости еще раз мою дерзость, отец мой. Завтра увидимся за богослужением. Прости и благослови!

— Господь с тобой! — Папий, не вставая с кресла, прикасается кончиками пальцев ко лбу пресвитера, — благодарю тебя за откровенность.

— А всё-таки... — Аристодем задерживается на пороге, борется со своим интересом, недостойным пресвитера интересом, разумеется, — а всё-таки, ты видел сам тот сборник изречений Спасителя? Неужели видел?

— Да, — Папий тоже приподнимается: неужели он его заинтересовал? — видел, но, конечно, не то, что составил Матфей на еврейском, а греческий перевод, подготовленный...

— Не стоит мне знать, кем, — перебивает его Аристодем, — мне достаточно нашего Евангелия. В нем всё надежно. Я загорюсь мечтой, и вдруг найду тот свиток, и что? Если там то же, что и в наших книгах, он бесполезен, а если что иное — вреден. Разве не так?

Папий молчит. Аристодем выходит. Свиток больше не покрыт ни золотом, ни кровью. Солнце скрылось, комнату освещает лампа. Папий долго беседует со своим разочарованием — безмолвно, пожевывая губами. А потом поднимается, грузно опускается на колени (все же возраст дает о себе знать), обращает взор в ту сторону, где на стене — Лик Распятого, сейчас почти не видимый за завесой темноты:

— Благодарю тебя, Господи. Благодарю тебя за этот ушат холодной воды. Он сказал мне главное: этот труд был нужен мне. И христиане последующих веков позавидуют моему путешествию, даже если сгорят все мои свитки. Я искал Тебя. Ты открывался мне в этих рассказах, в этих людях, в самом моем пути, — он, может быть, подходит к концу. Но Аристодем не понял самого главного — что этот труд был нужен Тебе. Ты пришел, чтобы разыскать нас, и чтобы мы разыскали Тебя. Тебя, а не подделку. Благодарю.

Каждый разговаривает с Богом, или богами, или совестью — кто как это называет. Феликс и Паулина вышли из Морских ворот, чтобы вместе проводить этот день предчувствия весны, но далеко не ушли — ей всё-таки тяжело. Сидят на потертой скамейке, где вырезал чей-то нож два незнакомых имени и сердечко между ними, смотрят, как опускается солнце за платаны и говорят, говорят, не могут наговориться. Говорит больше она, он — слушает. Они беседуют друг с другом. Но и с Ним тоже, потому что Он — среди них.

— Мальчик мой...Нет, ты не мой. Ты мог бы быть моим, Марк Аквиллий Корвин Младший... не сердись, мне сладко называть это имя. И ты был бы моим сыном, ты был бы сейчас старше, намного старше нынешних своих лет, потому что мы с твоим отцом родили бы тебя на чудном острове среди голубых волн Адриатики. Потому что мы любили

друг друга... но это я не дала себе, не дала нам двоим права на ошибку. Глупая просто была... ну да что уж теперь! Теперь — твоя история.

Мы всё думаем, что нужны Ему какими-то особыми, ломаем себя под чужие образцы, тянемся к каким-то дальним целям. Я вот, смешно сказать, во снах, в неотвязных снах карабкаюсь на какую-то Гору, мечтаю дотянуться. Маски, сплошные маски праведников или грешников, как в театре. А мы Ему нужны — живыми и настоящими, потому что такими Он нас сотворил, такими хочет видеть. А маски — наших рук изделие.

— Как ты думаешь, зачем Он приходил? — не в лад перебивает он ее.

— Ты спроси Константа, это по его части, — отвечает она с усмешкой, — он же нам и говорил много раз. И Павел писал, что ради искупления наших грехов. А я так думаю, по-простому, мой маленький ответ для самой себя, — чтобы нам никогда не было одиноко, даже не пороге смерти. Что бы мы ни принесли Ему в молитве, он ответит нам «да, и со Мной такое было».

Он... ты знаешь, я много думала... и говорила с Ним. Ему с нами — интересно. Интересно и немного непонятно. И чтобы понять, почему мы такие, Он сам прошел нашим путем. И мы, христиане, мы просто первые, кому это открылось. Все, что Он мог — сделал. Стал одним из нас, вкусил унижение, боль, предательство, разлуку и смерть. И мы с тех пор никогда не бываем одиноки. Вот, собственно, и вся суть нашей веры.

— А церковь? — он недоуменно вскинул голову.

— А церковь, империя, театр, словесность, архитектура — это всё наша игра. Важная, нужная игра. Летом дети на песчаном берегу строят города — но ни одному из них не достоять до завтрашнего утра. И мы строим всё это, и у нас это всё рушится, утекает сквозь пальцы... империи, церкви, государства, общины — важное, нужное, нам без этого никуда. И мы иногда приглашаем Его посмотреть, как мы играем... или даже поиграть с нами вместе.

— Так это всё — зря? Лишнее?

— Да что ты! Дети никогда не играют зря. Их городам не устоять, — но то, чему они научились, навсегда останется с ними. Так и

мы учимся, а Ему интересно нас учить. И Он по-прежнему не всегда может нас понять, а мы стараемся объяснить. И сами учимся протягивать руку и создавать прекрасное, делиться с другими. Пропустить сквозь себя не вечерний, негаснущий свет... Свет Его, а остальное — игра.

— Лучшие из нас — как стекло. Пропускают свет, они отдают его — и так сохраняют своим.

Солнце скрылось за платанами, сразу потянуло холодом, а Феликс вспоминает руки Константа, в которых переливается солнцем блистательный кубок тонкого стекла...

— Хорошо ты говоришь...

Ночь падает на восточные дивные страны, на убежище мятежников в Иудейских горах, на улицы и дома Иераполя и Авкилеи. Ночь, прохладная и чистая, подводящая итог дню седьмому. Дню радости и свободы, дню, когда может человек уподобиться Богу и что-то поправить в Его творении — или в себе самом. А может не уподобиться. Как сумеет, как захочет человек.

Разные и настоящие — они скоро погрузятся в сон. И подходит к концу эта книга. И сон в ней перепутался с явью, как фантазия перепуталась с фактами, история с вымыслом, прошлое с настоящим, а герои — с автором.

Но осталась одна глава: вершина Горы, итог пути, последний шаг.

Эксоd. Свобода.

— И это всё? — спросил ее Старец... а может быть, уже и не старец... с мягкой улыбкой. Его лицо менялось на глазах, как поверхность моря — и древняя мудрость сменялась мальчишеским задором, юношеской пылкостью, строгостью зрелого мужа и старческим пониманием, и снова горела детская искра в глазах, начиная танец превращений.

— И это — всё? — повторила она, сама не зная, зачем.

— Да, — ответил он, — Паулина-Эйрена-Шуламид, ты свободна.

И не стал уточнять, от чего. Уже и не нужен был этот ответ.

Разгорался рассвет, разливалась по востоку нежная бирюза, стали выплывать из мрака очертания мира, и что было страшным, оказывалось прекрасным. Солнце, еще не взойдя, преображало мир, как печать преображает глину, и расцветчивало его, как красильщик — полотно. Так было написано в одной древней книге о том, кто много страдал, имя ему — Иов.

Вспыхнула вершина соседней горы, а следом ударил в глаза первый луч светила, еще неяркий, так, что можно глядеть ему прямо в глаза.

И вдруг она поняла, что изнурительного полдня уже не будет. Аисты завершили свои кочевья, опустились на траву у прохладной реки. Потоки воды и струи песка промчались по гористой пустыне и смыли следы на разноцветных ступенях. Рыбы первобытных морей уплыли от обернувшихся холмами кораллов. Смуглые люди отпустили своих мертвецов, и глазницы их больше не повернуты к Горе.

И ей больше некуда спешить, нечего больше искать, не в чем оправдываться. Несколько шагов до самой вершины, можно перемахнуть не шагом — пружинистым бегом, не чувствуя ног. Тяжести не было. Не было вины. И не было мрака. И девочки рядом, девчушки-девчонки, к которой она так привыкла, не было рядом. Она приняла, согласилась: это — часть меня, мне без нее никуда.

— Так я пойду? — спросила она у Мальчишки-Старца.

— Беги, Солнышко, — ответил он ласковым и почти забытым голосом. Тем голосом, полным жизни и света, который она боялась узнать, когда он умирал там, у подножия, не дойдя до Горы. Тем голосом, которым говорил с ней светлыми вечерами детства, укладывая спать, когда жизнь была вечной, а смерть еще не входила в их дом. И вот он жив.

— Да, папа, — она небрежно махнула рукой.

Дети не умеют расставаться больше, чем на полчаса. Смерти ведь еще нет, а мир живых их всегда подождет. Взлетела по выщербленным легким ступеням, присела, оттолкнулась как следует от земли — и нырнула в звонкое, оглушительное, прохладное небо первого в мире рассвета. Спорим, она задержит дыхание там, над надутыми ветром облаками, дольше, чем любая из подруг? А мальчишки, если им так нравится, пусть за ними подглядывают, ничуть не жалко.

Где-то там, на продрогшей земле живых, в городе Аквилее, в этот миг остановилось ее маленькое недолюбившее сердце, но теперь это было уже совсем неважно.

Январь — октябрь 2019 г.

Каменари — Дахаб — Москва — Каменари

Оглавление

Пролог. Тяжесть.....	3
День один. Свет отделенный.....	14
Парод. Где ты?.....	38
День второй. Твердь посреди.....	46
Парабаса. Как надо?.....	66
День третий. Зелень земная.....	72
Стасим. С кем ты?.....	99
День четвертый. Светила небесные.....	104
Агон. Кто победит?.....	117
День пятый. Душа живая.....	122
Эписодий. Как это бывает?.....	136
День шестой. Мужчина и женщина.....	145
Коммос. Зачем?.....	165
День седьмой. Отдохновение.....	177
Эксода. Свобода.....	193